

АЛЕКСАНДР ДОНСКИХ

СИБИРИАДА



Божий мир

Сибиряда. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина

Александр Донских
Божий мир (сборник)

«ВЕЧЕ»

2018

Донских А. С.

Божий мир (сборник) / А. С. Донских — «ВЕЧЕ»,
2018 — (Сибиряда. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина)

ISBN 978-5-4484-7548-1

В книгу «Божий мир» сибирского писателя Александра Донских вошли повести и рассказы, отражающие перепутья XX века – века сумбурного, яростного, порой страшного, о котором вроде бы так много и нередко красочно, высокохудожественно уже произнесено, но, оказывается, ещё и ещё хочется и нужно говорить. Потому что век тот прошёлся железом войн, ненависти, всевозможных реформ и перестроек по судьбам миллионов людей, и судьба каждого из них – отдельная и уникальная история, схожая и не схожая с миллионами других. В сложнейшие коллизии советской и российской действительности автор не только заглядывает, как в глубокий колодец или пропасть, но пытается понять, куда движется Россия и что ждёт её впереди. В повести «Божий мир» – судьба в полвека простой русской женщины, её родителей, детей и мужа. Пожилая героиня-рассказчица говорит своей молодой слушательнице о вынесенном уроке жизни: «Как бы нас ни мучили и ни казнили, а людей хороших всё одно не убывает на русской земле. Верь, Катенька, в людей, как бы тяжело тебе ни было...» Повесть «Солнце всегда взойдёт» – о детстве, о взрослении, о семье. Повесть «Над вечным покоем» – о становлении личности. Многокрасочная череда событий, происшествий, в которые вольно или невольно втянут герой. Он, отрок, юноша, хочет быть взрослым, самостоятельным, хочет жить по своим правилам. Но жизнь зачастую коварна и немилосердна.

ISBN 978-5-4484-7548-1

© Донских А. С., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

Содержание

Повести	7
Божий мир	7
Солнце всегда взойдёт	30
1. Переезд	30
2. Несколько слов о маме и папке	33
3. Маленькая ссора	35
4. Рыбалка	38
5. День рождения	42
6. Снова тучи. Снова солнце	43
7. Гроза	49
8. Моя подружка	50
9. Игры, игры, игры...	52
10. Актриса-белобрыса	54
11. Мысли	58
12. Антошка	60
13. В гостях	62
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Александр Сергеевич Донских

Божий мир

© Донских А.С., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства www.veche.ru

Повести

Божий мир

Эту историю из довоенных и последующих лет прошлого века поведала мне старшая родственница моя Екатерина. А я расскажу вам. Как смогу.

1

Молоденькая в ту пору Екатерина, родом из поангарской деревни, окончила в начале 50-х институт культуры и по распределению была направлена в библиотеку Глазковского предместья Иркутска. Там же, по ходатайству райотдела культуры, она снимала и жильё – две уютные комнатки в деревянном, совершенно деревенском домике с резными наличниками, с маленьким огородом, с двориком. Стоял он на крутояре, почти что на берегу Иркуты, неподалёку от слияния его с Ангарой. А ещё ближе два моста через Иркут – приземистый бревенчатый, а над ним величаво высилась геометрическая стальная повесть железнодорожного. И день и ночь газуют автомобили, трубят паровозы, скрежещут вагоны, отстукивают на стыках колёсные пары. Но близкота великой транссибирской магистрали не утомляет и не сердит Екатерину, потому что она понимает – это трудится страна, это народ поднимается к новой жизни, избавляясь мало-помалу от горечи великих потерь. И она верит, что жизнь через годы – да, может быть, уже в следующей пятилетке! – будет только лучше. Только лучше, потому что страна великая и народ великий!

Снимала она эти комнатки у затаённой старушки Евдокии Павловны, бывшей учительницы начальных классов. Та приняла её неласково – молчаливо-мрачно, колкой приглядкой заплутавших в морщинах мерклых глаз. Но глаза, догадывалась чуткая Екатерина, не были отражением недоброй души, скверного характера; в них сукровичной коросточкой выросла какая-то застарелая печаль. Видела – старушка совершенно одинока: никого из родных и близких рядом с ней не было, никто её не навещал, даже соседи вроде как чурались. Месяц, второй, третий прожила у неё – никаких разговоров, расспросов, хотя бы внешней душевности, а общение – в обрывочках фраз. И, нередко бывало, насторожена старушка вся до последней жилки, будто опасалась чего-то чрезвычайно, жила ожиданием неприятностей.

За собой она оставила одну комнату, скорее, чуланчик, и, заложившись на щеколду, часами пребывает там тихонько, лишь изредка доносятся оттуда какие-то шепотки, бормотания, но распознавалось – молится. Во всём доме – мёртво, хотя вполне чисто, очень даже пристойно. Евдокия Павловна при всей своей замкнутости и нелюдимости – услужлива, предупредительна, преисполнена какой-то тонкой внутренней культурой. Если в комнатах становится прохладно, тотчас протапливается печь, за небольшую доплату Екатерина столуется у неё, и еда всегда вкусна и свежа, в разнообразии припасов со своего огорода. Из обстановки хотя и стародавняя, что называется, дореволюционная, но приличная, в утончённой резьбе мебель, – комоды, шифоньеры, буфет, стол, стулья, и Екатерина поняла, что они ручной работы и сделаны, как говорится, для себя – мастеровито, любовно. В кадках растут немолоденькими дородными деревьями фикусы и пальмы; на окнах – понедельно сменяемые чистейшие белые занавески, на полу – простиранные и, тоже понедельно, протрясаемые домотканые половики. Повсюду уют, благообразие, обстоятельность. Но отчего же столь странна, угрюма, недоверчива и, похоже, глубоко несчастна хозяйка? Почему она совсем одна, ведь её прекрасный дом-усадебка – чаша полная, для большой семьи? И судя по кроватям и комодам, здесь живало по

несколько человек. Почему же теперь дом пустой, омертвелый? Да и сама хозяйка хочет быть в нём только одна: Екатерину к ней, официально бессемейной, имеющей лишнюю жилплощадь, подселили почти что принудительно, решением комиссии райсовета.

Екатерина уже подумывала, не съехать ли, коли чем-то, кажется, неуютно, неприятно. И стала подыскивать другое место, да однажды произошёл случай, задержавший её в этом доме на долгие, долгие годы.

Вечером в тихое, патриархальное Глазковское предместье ворвался ветер с дождём и снегом, а к ночи непогода уже буйствовала, завывая в трубах, ломая ветви, крени заборы. Ни днём, ни ночью, ни в будни, ни в праздники к старушке никто не приходил, а тут вдруг – стук. Ладно бы разок-другой постучались – колотят наступательно, властно, Екатерине кажется – дверь расшибут. А за окном ужасное промозглое октябрьское предночь, темь жуткая, рокот урагана; к тому же света нет, видимо, провода перехлестнуло или столб повалило.

Екатерине страшно: стучат, стучат. Что и думать: недобрые люди или с кем-то беда, за помощью прибежали?! Зажгла керосинку, в ночнушке стоит в коридорчике перед дверью в сени, не знает, что делать. Надо бабушку разбудить.

Но тут и она сама: ковыляя на больных, опухающих, ногах, выбрела в коридорчик. В её руках плотно набитая котомка.

– Не трудно догадаться: за мной пожаловали. Мужа, сыночков моих извели, а про меня забыли? Непорядок! Что ж, казните, режьте на куски – я готова. Пожила – хватит. Пора к моим родненьким. К чему мне в этой жизни одной прозябать?

– Евдокия Павловна, что с вами? Кто за вами пришёл?

Старушка спешно надела боты, натянула на плечи дошку, повязалась пуховым платком, взяла котомку.

– Прощай, жилища, – обратилась она к Екатерине. – Если не прогонят тебя отсюда – живи, пользуйся всем, что есть. Нам не дали жить и радоваться, так, может, тебя судьба обласкает. – И направилась к сеним.

Но Екатерина за локоток придержала её:

– Погодите, погодите! – Приоткрыла дверь: – Эй, кто там? – Густая тишина ответом, но по двери по-прежнему отбивают. – Вы чего тарабаните и пугаете людей? У нас ружьё: выйду – пальну! Убирайтесь прочь!

Очередной наскок ветра – дощатые сени сотрясло, стекло в оконце звякнуло, а двери затрещали, будто хватили по ним кувалдой. Но Екатерина решительно вошла в сени, сбросила с петли наружной двери крючок, распахнула её и тотчас поняла с благословением и отрадой – ветром сорвало деревянный жёлоб водослива и тот тряпичей мотается на проволоке, шибает по двери. Сдёрнула его и отбросила в кусты. Заложив дверь, заскочила в коридор.

– За мной? – отрешённо-тускло осведомилась старушка.

– Успокойтесь, Евдокия Павловна. Никого нет. Жёлоб швыряло. Если бы люди вошли в наш двор, Байкалка изошёлся бы в лае, а так, слышите, молчит, затаился в будке. И как мы с вами сразу не догадались?!

– Снова не пришли за мной, – тяжело вздохнула старушка. – А я уж обрадовалась: заберут и убьют, чтоб не изводиться мне.

Екатерина помогла старушке снять дошку, став на колени, стянула с неё боты, под локоть завела в каморку, усадила на топчан, служивший кроватью. Первое что – увидела в углу осиянный киот с горящей лампадкой, следом, в нарушаемой светом керосинки затеми, – портреты на стене над топчаном: вихрастого, озорновато прищуренного паренька и солидного молодого человека со значком спортивного разрядника на лацкане пиджака. Ещё один портрет выхватила из потёмок: молодая Евдокия Павловна и статный мужчина с ромбами на гимнастёрке – офицер Красной армии, плечом к плечу сидят, смотрят пристально, как в даль; и оба очень

хороши этими своими выхуданными, загорелыми, но свежими лицами единой на двоих устремлённости.

– На портретах ваши дети? А на том вы с мужем?

– Мы... мы... мы все. А теперь я одна. Только одна. – Помолчала, вобрала воздуха, выдохнула в придущенном шепотке: – Как я хочу к ним!

– Куда, Евдокия Павловна?

– Куда, спрашиваешь? Туда, – мотнула она головой к небу.

Екатерина хотела было спросить: «Они умерли?» – но не посмела. Помогла старушке прилечь, накрыла её одеялом, направилась к выходу, пожелав спокойной ночи.

– Ты хотела спросить, живы ли они? Живы, живы... в моём сердце. А на земле их уже нет.

– Простите, Евдокия Павловна.

– Присядь рядышком, Катюша. Сердце разбередилось – поговорить охота с живым человеком. Давно уж я ни с кем не общалась. Как узнала, что Сашу, старшего сына, арестовали и убили, так и стали для меня обрываться мои ниточки к людям. Что ни человек, то злыднем мне кажется, наушником, иудой. Все мне стали плохи, что там – противны. Озлилась я на жизнь и судьбу, даже молитвы не всегда ослабляют и смиряют моего сердца. И даже тебя, такую славную девушку, приняла поначалу за их посланницу. Должно, потихоньку, но верно схожу с ума: думала, подослали тебя, чтобы ты вызнала, чем дышит старуха, которая взрастила врага народа, а мужем её был японский шпион. Раньше-то ко мне на постой не направляли, сама же я никого не хотела видеть, а проситься приходили. Даже от соседей отъединилась. Но тут – ты... Славная, славная ты девушка. Уж прости меня, старую, что сразу не признала в тебе душу. Вон какая ты красавица. А коса твоя – богатство истое. Береги её. А глаза твои хотя и черны, как дёготь, но сияют ангельским светом любви и приветия. Но больше всего душу свою сберегай: она поможет тебе выстоять самой, а потом и людям помогать. Минут нынешние лихолетья, очнётся народ, а кто ж подойдёт к человеку с человеческим, а то и с Божьим словом? Такие, как ты, – чистые сутью своей, ясные и бесхитростные помыслами и делами.

Помолчав, сказала строже, с выговором каждого слова:

– Я, Екатерина, не долго протяну: не столько стара я, сколько, как видишь, безвременно немощна и вымотана. И сердце – не сердце уже, а окаменелость какая-то. Что кровь всё ещё проталкивает по жилам – непонятно. Да, скоро помру...

– Ну что вы, Евдокия Павловна!..

– Молчи, слушай! Не хочу, чтоб дом... *наш* дом... достался каким-нибудь злыдням. На тебя перепишу.

– Ну что вы, Евдокия Павловна!..

– Молчи, сказала! Ты сначала послушай, какие здесь люди жили, а потом отказывайся. Нельзя, чтоб сюда кто случайный въехал. А ты останешься – совьёшь гнездо. Мы же с неба будем смотреть на тебя и на твоих деток с благоверным твоим, как живёте-можете вы в этом нашем всеобщем и, несмотря ни на что, божьем, да, да, божьем мире. И будем радоваться, радоваться...

Волнение перебило дыхание старушки, и она замолчала, полежала с призакрытыми глазами.

– Наш мир разве божий? – невольным шепоточком спросила Екатерина, словно бы у тишины этой комнаты с фотографиями и иконами.

– Верь: мир наш божий, и все человеки Земли боковы, – сурово, но и ласково одновременно посмотрела на неё старая женщина. – Говорю тебе потому так, что я несломленная, а убитая. А кому, как не мертвецам, знать больше правды, чем вам, живым?

– Что вы такое говорите!..

– Я знаю, *что* говорю. Я пока ещё здесь... телом своим бранным и больным... но душа моя уже давно не здесь, а там, высоко-высоко, далеко-далеко.

Обе долго, но легко помолчали.

Наконец, старая женщина заговорила, и голос её звучал хотя и тихо, с трещинками, но ясно и чисто.

2

– Слушай, дочка, и запоминай крепко: когда-нибудь кому-нибудь, может быть, расскажешь или только сердце твоё будет знать и помнить.

Жили-были здесь мы – простая русская семья Елистратовых: муж мой, офицер, батальонный командир из Красных казарм, Платон Андреевич Елистратов, в прошлом георгиевский кавалер, участник Японской и Первой мировой войн, я, учительница, хотя и крестьянского происхождения, но выпускница Девичьего института Восточной Сибири имени императора Николая Первого, или ещё его называли институтом благородных девиц. А потому, поясну тебе, я туда попала, что батюшка мой, Павел Саввич Конюхов, был зажиточным, как говорили и писали в официальных бумагах – многомочным... И наши детки с нами жили – доченька Марьюшка, двух лет от роду умерла от кори, да два сыночка – Сашенька, Александр, старший, студентом был Ленинградского технологического института, на инженера учился, мечтал строить гидростанции, и Пашенька, младший, наш поздненький, заскрёбши, в сорок третьем на фронт ушёл и – не вернулся. Вот они все надо мной... На тебя смотрят. Смо-о-отрят, ро-о-одненькие. Видать, приглядываются: кто ты такая, чем дышишь, доброй ли будешь здесь хозяйкой.

Слушай ты, Катя... и они с нами... послушают. А начну, как говаривали у нас в деревне, издаля-издалёча: мой батюшка мученически погиб в гражданскую от рук чехословаков, а матушка следом с горя слегла и померла. Ещё одна родная душа – единственный братка мой Федя не вернулся с германской, остался навеки лежать в Галиции после знаменитого Брусиловского броска. С Платоном Андреевичем мы встретились в революционную пору, оба были к тому времени уже не очень молоды, намыкались по жизни, а потому, уставшие и одинокие, потерявшие всех своих близких, потянулись друг к дружке и мало-помалу зажили душа в душу. У меня до него, к слову, был муж Николай, но прожили мы с ним вместе совсем маленечко, так как ушёл он в четырнадцатом по мобилизации, и с той поры я его уже ни разу не видала, только десяток писем получила с фронтов, то есть женой-то по-настоящему и не побыла с ним, семейного счастья не изведала. Сгинул он в переломном двадцатом где-то в донских степях. Но, возможно, и жив остался: уплыл с остатками Добровольческой армии за море, в неведомые зарубежья. Так я стала, почитай, круглой сиротой, совсем одинокой. Дитя с Николаем мы хотя и успели прижить, да умерла наша девочка, потому как квёлой родилась, не спасла я её. К фельдшеру прибежала с ней в другое село, а она уже мёртвая...

Батюшка мой числился в нашей притрактовой Кудимовке кулаком, и сельчане недолюбливали его, завидовали, но побаивались, потому как строг он был, взыскающего норова. А чего завидовать-то было? Трудился денно и ночью, любил землю, любил строить и построил на своём не шибко длинном веку много чего, в том числе срубил новую церковь взамен сгоревшей. С людьми делился, чем мог: зерном, веялками, упряжью, – всем-всем, жадности – ни крошки в нём не было. А потому со всякими доуками люди шли к нему, и он мало кому отказывал. Строгим же и взыскающим бывал только лишь тогда, когда сталкивался с чьей-нибудь недобросовестностью да ленью. И меня с Федей держал в строгости, и выросли мы в трудах, всему обученные. Жить бы да жить и ему и матушке, ведь совсем молодыми ушли в мир иной – слегка за пятьдесят перевалило обоим. Ох, чего уж теперь об этом, Катенька!..

В нашу деревню однажды вошёл отряд чехословаков: они гонялись за партизанами, а те накануне отбили у них обозы с боеприпасами и провиантом. Вошли они в село и-и-и – давай рыскать, злобствовать самыми растреклятыми злыднями. Пристрелили нескольких мужиков,

те заартачились, забуянили. Потом согнали всех жителей на площадь перед церковью, выставили пулемёты и стволы винтовок и говорят: «Всех перестреляем и перевешаем, если не скажете, где скрываются партизаны. Ну, говорите!» Мы – молчим, хотя известно было, наверное, каждому про партизан: по Хоринским балкам они кроются. Молчим, крепко молчим. Бах выстрелы. Первыми в переднем рядке двух баб и мужика скосило замертво. «Ну! – говорят эти злыдни. – Молчать будете? Дббро! Получайте ещё!» Падают люди, корчатся. Ужас. Дети, бабы заголосили, кто-то кинулся наутёк – срубили пулемётной очередью... Не могу не сказать Катя: вот тебе и культурная Европа, вот тебе и братья-славяне!.. А чуть позже эта же Европа породила Гитлера... Да что хаять Европу: здесь у нас, в нашей Матушке-России, что мы породили и набедокурили?..

Стоим мы перед чехословаками таким овечьим гуртом. И Пресвятая Богородица: что же делать, что же делать?! Но тут вижу: мой батюшка выдвинулся из-за спин, к чехословакам пошёл, а их командир уж руку поднял для отмашки, ну, чтоб гвоздили по нам. «Я скажу!» – слышим мы. «Будь ты проклят!.. – зашипели наши кудимовцы. – В отряде мой братка... И муж мой тама... Супостат... Кулачье отродье...» – сыпали страшными словами. И во мне ворохнулась неприязнь к отцу. Но если бы мы тогда знали, если бы знали!..

О чём-то поговорил он с чехословаками, и отряд тронулся в путь. Отец – впереди. Мне показалось – он махнул мне рукой, понимаю теперь – прощался, и таким меленьким торопливым знаменем осенил и меня, и село родное с его лесами, полями и небом.

Народ разбредается и всё шипит, клокочет: «Отродье... Иуда...» А мальчишки шпыняют и щипают меня, как гадкого утёнка.

Но не прошло и полсуток – и тот самый партизанский отряд вошёл в нашу деревню, а командир, Савва Кривоносов, наш кудимовский мужик, рассказал, как погиб мой батюшка.

Вывел он чехословаков к большим, распахантым во все пределы еланям перед самыми Хоринскими балками, хотя мог провести, как бывалый охотник и грибник, утайными тропами через леса наши дремучие, чтобы подкрасться к отряду и с холмов и скальников перестрелять, точно рябчиков, весь отряд. А батюшка – видишь, как оно задумано им было! – вывел на самое открытое-разоткрытое место и наверное знал, что в дозорах круглосуточно сидят мужики. Дозорные живёхонько скумекали: посыльных – за отрядом. И партизаны с трёх краёв вмиг навалились, обхватили чехословаков и давай понужать их из винтовок и гранатами. Враз положили с половину, говорил Савва. Остатние чехословаки кинулись в дебри, побросали и лошадей, и повозки, и пулемёты с лентами. Но батюшку, злыдни, уволокли за собой. Говорили потом, он уже ранен был, наверное, наши угодили. Партизаны – в погоню, но в наших глухоманях не шибко-то развоюешься. Однако всех изничтожили. А дальше вот что... извини, слёзы давят, горечь жжёт грудь... Батюшку обнаружили распятым на листвене: руки-ноги штыками пригвождены... и весь, весь исколот... выходит, долго не умирал. Он был, как говорили у нас в деревне, живущой, настоящим силачом, за десятерых работал, если надобность случалась... Что принял, что принял!..

Похоронили мы с мамой отца. Всё село собралось на вынос, плакало навзрыд, и друзья и недруги его едино стояли у гроба. А следом, недельки через три, я схоронила и маму: сердечко её не совладало с потрясениями: и сына и мужа потерять... Так я стала круглой сиротой, хотя уже была взрослым человеком.

Вскоре по Сибири прошла 5-я армия, навела всюду порядок. И с тем людским потоком, возвращаясь в родной ему Иркутск, заворотил на передых с тракта в нашу Кудимовку со своим стрелковым взводом Платон мой Андреевич. Но тогда конечно же он ещё не был моим... Как сейчас вижу его: низкоросл хотя, но бравый, видный мужчина. Усы пышные, с такими подкруточками. Шенелишка, сапожки, картуз – хотя и не новёхонькие, с дорог да с боёв, но в содержании безупречном. И такие же солдатики у него: никакой расхлябанности, разнузданности, в отличие от многих всяких других, тоже завёртывавших в наше село.

Встретились мы с ним невзначай на улице – я по воду на Ангару с коромыслом шла, а он на завалинке покуривал свою самокруточку – козью ножку... Будь они неладны, эти самокруточки из газетной осьмушки! Пристрастился он к ним на фронтах, потому как удобно: кисет с махоркой, газетный клочок, а не пачка папирос или сигарет, которую и сомнёшь, и изломаешь. Портсигары же как-то не прижились в простонародье. Ведь эти растреклятые завёрточки и стугбили его в тридцать седьмом, лютном году. Но о том, Катя, ещё скажу... и поплачу... а может, и ты со мной... Так вот словила его взгляд на себе, но, как и положено нам, бабам-чертовкам, притворяюсь, что не примечаю. Однако ж сердце моё уже – вверх-вниз, вверх-вниз. То есть с первого полвзглядочка-то и попалась вся. Назад иду с тяжестью вёдер, а не чую их. Словно бы скольжу по земле. Боюсь: ушёл, поди? И правда, что ж он будет поджидать меня, обычную деревенскую бабу, к тому же не молодую да и не красавицу. Ан нет! Увидал меня, оправился, крякнул в кулак, подошёл с улыбкой... Ах, какой же он был херувим и млодец! Я, Катенька, тогда подумала: генерал. Он чего-то с этаким любезным наклоном спросил, а я и полсловечка не могу вымолвить в ответ: Ключня Ключней, дерёвня дерёвней стою перед ним, почтительным, с саблей на боку, с этими богатыми усами, а глаза, глаза-то – голубыми искорками рассыпáлись передо мной. Ну, сущий генерал Скобелев с лубочных картинок! Наконец, распознала в его голосе: «Позвольте помочь, барышня». И без согласия берёт коромысло. Спросил о постое: можно ли? Я снова дура дурой. Повторил вопрос. Докумекала, в конце концов. Но в горле пересохло у меня, лишь хрипнуть смогла: «Милости просим», – и вспыхнула огнём от стыда и досады.

Крепко, Катенька, мы друг дружку полюбили и безо всяких свадеб – да и каким тогда отмечинам быть, коли мыкались впроголодь да под пулями – стали жить-поживать вместе. Он, к слову сказать, был сиротой сыздетства: родители его со старшим сыном сгинули на бодайбинских приисках, и обе сестры тоже направились искать фарт на стороне, да тоже потом весть чёрным вороном прилетела: на каторге сахалинской померли. Платон Андреевич грустно говорил мне, что все они сгинули потому, что бросили родную землю и дом, а ведь всё было у семьи – живи, трудись, радуйся. Он верил: фартовым и гожим будешь там, где ты родился и вырос. И вот он, мальчонкой, подранком, остался один-одинёшенек. Правда, была у него бабка по отцу. Жил он с ней в скудости великой, по ярмаркам да весям побирались они. Бабка однажды настыла и вскорости опочила. Благо, у Платона Андреевича призывной возраст подоспел, и он с лёгким сердцем ушёл на свою первую, но не последнюю войну, а дальше и вовсе остался в войсках. Потихонечку дослужился до младшего офицерского чина, а следом, после революции, и выше вскарабкался. Голова! Без образования, но статью – дворянинского – ей-богу! – образу. И такого молодчагу да умнягу конечно же не могли оставить в каких-нибудь там фельдфебелях, унтер-офицерах. И красавиц, и умница, повторюсь, ан, знаешь, простая-простецкая русская душа. Кто попросит чего – на́, кто нагадит ему чем – подуется, подуется, конечно, да извинит. Но по службе строгонек был, а устав армейский его библией стал. Однако солдаты никогда не обижались на него: правду и душу за ним чужали, человечность нашу русскую. А человечность-то, Катя, не просто к человеку приходит да и не к каждому. Но человеческого люда, слава богу, много на Руси.

Революция грянула – он с народом. В партию большевиков вступил ещё на германском фронте. Знаешь, был шибко идейным, хотел всем беднякам и немощным всяческих благ и послаблений, потому что сам хлебнул горечи с лихвой, помытарствовал с малолетства. В гражданскую в плену побывал у Колчака. В концлагере под Омском чуть не помер от голодухи. Бежал, изловили. Пытали. А узнала, что пытали, не от него самого, а ненароком – от его боевого товарища Севы Весовичного, с которым они в плен угадали и бежали. На расстрел повели обоих, а он, Платон-то мой Андреевич, изловчился и конвойных лоб об лоб столкнул – они и грохнулись наземь без чувств. Вот такой силищи был он человек, хотя измождённым к тому времени. Но главное, духу, великого духу был мужчина!.. Утекли оба в тайгу, а дело-то при-

ключилось поздней осенью, уже снегу намело по колено, они же чуть не голяком, без шинелей, хорошо, что обутые. Сева-то, признался мне, раскис, замерзать стал, а Платон Андреевич ему: «Не сидеть! Бежать, бежать!..» И – выбрели-таки к деревушке, приютили их промысловики из староверов. Вот оно что такое дух человеческий... Про эти героические дела мне тоже Сева рассказал, а Платон Андреевич у меня был человеком скромным, малоречивым.

Ну, вот, стали мы жить-поживать вместе, семьёй. В Кудимовке я, конечно, уже оставаться не могла: мужа определили взводным в Красные казармы. Через год-другой, к слову, произвели в ротные. С кудимовским хозяйством жаль было расставаться: отцом-матерью, дедушкой-бабушкой скопленное, взлелеянное добро. Землица наша пахотная была наилучшей в волости, а луга безбрежные – тучные, потому как ежегодно сдабривались по бурятскому обычаю навозом, утугами они такие-то прозывались. Что продали за бесценок: народ-то наш сибирский хотя и работающий, бережливый, да страсть как пообнищал после воин и революций. А что так раздали-раздали – всё людям нашим чтобы легче жилось.

Стали обустриваться в Иркутске. Сначала по людям мыкались, по казармам. Я в начальной школе учительствовала – люблю, знаешь, возиться с ребяташками. Платон Андреевич в полку служил. Всё чинно, ладно, радуемся жизни, хотя и бедненькой, да мирной и мало-мало устойчивой к той поре. До тридцать седьмого не жили своей радостью. И за себя радовались, и за новую власть радовались. Мы простые люди – нам много-то не надо. Чтоб войны не было да чтоб народ вокруг сытно и порядком жил-был, – а чего ещё надо, если понимаешь, что мир сущий – Божий? А мы с Платоном Андреевичем крепко это понимали, хотя он и был коммунистом-атеистом. Но знаешь что: хотя русский человек и отталкивает Бога сознанием и головой, да всё равно душа-то нам всем милована Богом и к Нему, хозяину сего добра неизменного, потом возвращается.

3

Обживались мы, Катенька, стало быть, мало-помалу. Дом этот наш – чтоб ты знала – построил Платон Андреевич сам. Да-а, самолично! Кругляка напил в местных лесах за Поливанихой: там произрастает наилучшая корабельная, да к тому же неподсоченная, сосна. Спасибо, красноармейцы его взвода подсобили: скопом за неделю с хвостиком сруб подняли, потолок, полы настилили, стропила с матицей сработали, кровельное железо пришили, а уж потом мы потихоньку сами «копотошились», – как у меня любила приговаривать мама. Досочку к досочке, стёклышко к стёклышку – и домок, глядим, народился наш, заиграл на солнце. Сама видишь, наверное: славный вышел. Бывало, подходишь к нему под вечер со школьных занятий – люблю-у-у-ешься, шаг ускоряешь, как бы не измоталась за день. Оконца мигают-посвёркивают, крыша – точно бы наполненный ветрами парус, труба пробеленная – флажком, заборчик палисадника тоже пробеленный, с черёмуховым кустом под окном, а недалеко под укосом голубо горит родимый наш Иркут, чуть же далее и правее – чудо наш мост иркутный, с царских времён трудится на нас всех, выдерживает и паровоз, и состав вагонов, – силище-мост! Сама видишь, чего только по нему не провозят. Мы зачастую по вечерам с Платоном Андреевичем посиживали на лавочке у калитки и смотрели на проходящие составы. И радовались, радовались за страну, как дети радуются за своих родителей, когда они молоды, сильны, работающи и ласковы.

Зажили мы в доме ладком. Вскоре, как и должно тому быть, детки пошли. Первой девочка родилась, да прожила всего четыре дня. Потом у меня выкидыш случился. Я ведь к тому времени уже немолоденькой была, испугалась: не рожу вовсе – бросит меня, старую клячу, Платон мой Андреевич! Не бросил – жалел. И вскоре радость долгожданная: Сашенька родился. Здоровенький, прекрасный ребёнок. Потом – Мария, Марьюшка наша принцесса. Но, уже говорила тебе, в два года от кори умерла. Последним родился Пашенька.

Обустроились мы, живём-поживаем, детки подрастают – всё как у людей, ни лучше, но и не хуже. Страна живёт, по мосту нашему – локомотивы, грузы, Иркут бежит к Ангаре, Ангара – к Енисею-батюшке, а Енисей – в окияны-моря. Казалось, ну, что может сдвинуть жизнь и пустить её под откос?

Уже говорила тебе: любил до страсти Платон мой Андреевич самокрутки. Осьмушку заранее сложенной газеты, бывало, оторвёт, желобок в ней пальцем продавит, накрутит, щепотку табака из кисета натрусит, скрутит всё это добро, этак ловконько промахнёт языком по краешку, – готово: склеилось. Вот тебе мужичья забава – козья ножка. Чиркай спичкой, закуривай. А курил Платон Андреевич с наслаждением великим, в задумчивости философической, как пишется в старых книгах. Казалось, табак мысли и чувства какие-то важные пробуждал в нём. Не куренка, знаешь, была – це-ре-мо-ни-ал.

В тот злыдень-год он так же, у себя на службе в Красных казармах в кругу офицеров после рапортов в штабе, свернул козью ножку, прикурил, затянулся, пыхнул дымком и привычно задумался. А когда сворачивал осьмушку да насыпал табаку, не обратил внимания на своего взводного, Новикова, – о подробностях мне уже после рассказали товарищи Платона Андреевича. Так вот этот самый Новиков, говорят, томился на своей маленькой должности и шибко хотел продвижения по службе. Не любил его Платон Андреевич, слизняком однажды в разговоре со мной назвал... Покуривает, подымливает, значит, Платон Андреевич, поглядывает в дали наши таёжные, офицеры вокруг тоже курят, разговаривают о своих армейских делах, а слизник этот Новиков – хоп, и пропал куда-то. Да никто и не обратил внимания: ну, ушёл да ушёл человек по своим надобностям.

Однако через минуту-другую подходят к Платону Андреевичу трое офицеров из спецотдела штаба (а этот слизник Новиков, замечено было, маячил, как стервятник перед пожилой, невдалеке) и говорят моему мужу: «Покажи-ка, командир, козью ножку». И – хватъ её изо рта его. Она уже наполовину выгорела, однако текст читается: Постановление Политбюро ЦК ВКП(б), да портрет аж самого... «Сдать оружие!» – «Вы чего, братцы?» – Платон-то мой Андреевич, говорили, почернел вмиг, а был ведь не робкого десятка, стреляным и ломаным. Вырвали у него из кобуры наган и с подтыками в спину повели в карцер. Следующим днём, к слову, слизняка назначили на место моего мужа ротным. Да ещё, забегаю вперёд, скажу: через год, через полтора ли слизняка тоже арестовали, и на Колыме, случаем узнала я, он и сгинул. Но я не радуюсь, не подумай чего, Катюша. Мне и его, слизняка-то этого, жалко, потому как на веки веков загубил он свою душу и потерял для Бога и Божьего мира нашего... Хотя... хотя... Богу судить, а не нам, грешным.

Японо-немецко-троцкистским агентом – вот кем объявили моего мужа. Попробуй выговорить. А прикуренные осьмушки газетные со статьями и портретами больших людей были, растолковали, условными знаками для бешеных собак – троцкистов и шпионов: мол, конспирация у них, врагов народа, такая. Ведь если не вдумываться – смех, и только. А если вдумываться? Эх, да чего уж тут вдумываться! Нет Платона моего Андреевича и сыновей наших нет! Вот и думка вся. И одна я чего-то мыкаюсь. Уж скорей бы, скорей...

Старушка помолчала, прикрыв глаза землистым комочком век. За стеной дома выла и билась пурга, в прощелях ставен – тьма всё та же, хотя по времени уже зажечься рассвету надо бы. Екатерине кажется, что покою и свету белому никогда не наступить, что теперь господствовать в мире только ночи и ненастью. Душе её, скованной и жалостью, и страхом, было невыносимо тяжело дышать.

– О чём я, Катя, говорила? Да, да, помню... А лучше бы обеспамятеть, разом уйти в землю. Но коли начала рассказывать, надо доканчивать. Так вот, началось следствие. Недолгое. Да что там! – коротенькое, как ехидный смешок за спиной исподтишка. Три-четыре дня, что ли, длилось оно. Платона моего Андреевича перевели в главную нашу тюрьму в Знаменском предместье. И я наверняка так ничего и не узнала бы о его судьбе страшной, как милли-

оны других родственников остались в неведении, да мой дальний сродственник, Гоша Дубовицкий, служил там в следственном отделе делопроизводителем. Я – к нему домой. «Скажи, Гоша: что, как?» – «В списках», – шепнул. И понурился, спрятался от меня глазами. «В каких таких списках?» – пытаю. Молчит. Молчит и сопит. «Господи, да говори же, идол!» Прощедил, кажется, даже губ не разжал: «В расстрельных». – «Что, что?!» Я слов не нахожу и задыхаюсь. Как, Платона моего Андреевича, красного командира, большевика, героя гражданской, бежавшего из-под расстрела от самого Колчака, – и такого человека могут расстрелять, что он по глупости или простоте своей природной покуривал козьи ножки?! «Знаешь, сколько их там! – наконец, говорит Гоша. И скрежещет зубами. – Камеры набиты битком. Стеллажами народ в них. Духота, вонь, блохи, клопы. Кормёжка – баланда из картофельных очисток и протухшая селёдка. С допросов людей заволакивают охранники покалеченными, в кровищи, а кого уже и не возвращают. Ещё страшнее, шепнул мне один человек, в подвалах УНКВД. Там стены обшили металлом, на пол насыпают опилки и всю ночь во дворе тарахтит трактор. А зачем? Чтоб криков жертв и выстрелов не было слышно. Кровища стекает на опилки – их вынесли, ещё посыпали. Так, помню, у нас дома борова осенью кололи – опилки насыпали. Следующая ночь – снова расстрелы. Трупы забрасывают в ЗИСы под тент, в два-три часа ночи, в волчье время, везут в спецзону НКВД под Пивовариху, там у них полигон, что-то вроде кладбища. Закапывают в траншеи, говорят, они пятиметровой глубины, а длиной – десятками метров. Сбросили очередную партию – немного землицей присыпали, да не сами чекисты, а живых арестантов с собой привозят. *Живьяками* их называют. Те закопают трупы – и их тут же убивают, в ту же яму сбрасывают. Рядом со спецзоной – поля местного совхоза. Так вот один механизатор во время уборочной видел не из шибкой дали, как землица над теми траншеями *дышала* утром, то есть и живьём закапывают людей, не добивают, патронов, видать, жаль, – не знаю. Я, когда бываю по служебным делам в УНКВД, встречаю в коридорах этих убийц. С виду, знаешь, обычные люди: две руки, две ноги, голова... но что, что творят!.. Нет, от других всё же отличаются: у всех у них сытые лощённые рожи – ведь отовариваются, не как мы, простые смертные, в обычных магазинах, где доброго товару не встретишь, но в самом торгсине, где всё самое наилучшее и по сходной цене. И одеты с иголочки: щеголяют бекешами, фетровыми бурками, носят регланы, чего другим не позволяют. А сапоги какие – нежнейшая монголка, а влитые гимнастёрки – из наиплотнейшего коверкота, а на рукавах – горит чекистский герб, кажется, из золота он. Постреляют людей, увезут в Пивовариху, сбросят в ямы, а потом до утра гулеванят на Даче лунного короля...» Гоша замолчал, у него захрип и срезался голос. Обхватил голову руками и раскачивался, как пьяный.

Слушала я его и – не верила. Не верила! Да как же так: ведь мы – советские люди. Самые гуманные, человеколюбивые на земле люди. Строим самое справедливое общество всех времён и народов. А Сталин... Сталин... гениальный вождь наш, отец всех народов... Как же... что же... почему же...

Через день-два Гоша пришёл в наш дом, утайкой самой утаистой, впотьмах, и передаёт мне скомканную пропотелую бумажку. Записка от мужа моего роднёнького Платона Андреевича! Читаю карандашные закорючки, захлёбываюсь словами: «Евдокиюшка, береги наших сынов. Вытяни их к свету и правде. Тяжело тебе будет, но не сдавайся. А что бы кто не говорил обо мне, знай: я чист. Прощай. Твой супруг Платон Андреевич Елистратов». Вцепилась я в Гошину тужурку, трясу его, а не могу слова вымолвить – каменюка в горле. Гоша зубы стиснул и телепается, как тряпичная кукла. Он крепковатый мужик, нашенский деревенский, но тут обмяк весь.

«Устрой встречу со следователем», – прошу в отчаянии. «Ты что, безумная? – шипит он. – Какие там теперь следователи! Я же тебе рассказывал: там нелюдь суд вершит. Никому там нет дела до следствия и правосудия». «А его, его увидеть хотя бы краешком глазочка?» –

«Тоже невозможно». На колени опустилась перед ним, заглядываю, как собака, в глаза его: «Христом Богом прошу: помоги, Гоша».

Он помолчал и сказал тщательно, будто отслеживал каждое своё слово: «Сегодня после полуночи повезут их на полигон под эту живодёрню Пивовариху. Вот и вся моя помощь, не обессудь. Что ещё тебе сказать?»

Слышала я слово «полигон» и раньше до Гоши. От мужа, когда рассказывал он про свою службу, про стрельбище Красных казарм, которое находится возле Пивоварихи. А раньше, к слову, мы её называли Теребеевкой, потому что в тех местах проходит дорога на Байкал в Большое Голоустное и на дороге той разбойнички грабили, то есть теребили, а зачастую и убивали купцов-промысловиков. Страшные места, столько историй о них. А коли под Пивовариху везут, я, наивная душа, потому и спрашиваю у Гоши... А почему, Катя, так спрашиваю-то? Потому что верить не хочу и не могу, и всё ты тут! Спрашиваю: «Что, на учения... на стрельбы?» «Эх, дура ты баба!» – выругался Гоша, а у самого глаза слезами забиты, губы холодцом дрожат.

Выдавил, точно яд: «Убивать... Уж сколько народу туда отписано и чекистами, и моим ведомством... мать моя расхристанная!..»

Замолчал, заозирался зверьком, похоже, испугался: понятно, что в сердцах сорвалось с языка лишнее. Наверное, не надо было такое-то убитой горем бабе сообщать.

Я крикнула: «Не верю! Не может быть!.. Сталин... как же Сталин?..»

И – завyla, завы-ы-ла, Катенька. Распласталась по полу. Понимаю, хрястнуться бы об плаху головой, вышибить мозги, да сил нету: как срубило меня поперёк туловища шашкой-невидимкой под названием судьбина, не чую тела своего – ни рук, ни ног, ни головы, даже сердце онемело, захолонуло.

Гоша повздыхал надо мной, сказал на придушенном полушёпоте: «Теперь хоть знать будешь день смерти мужа и где могила его, хотя и братская. Другие так и этого не знают...»

Правильно сказал, по-человечески. Потихоньку ушёл, и – тишина гробовая, будто и не было никого, а я не слышала о страшной участи моего мужа.

Лежу, умираю. Ничего не знаю, ничего не понимаю хорошенько. Внутри и горит, и смерзается разом, сердце то замрёт, то дёрнется, как для прыжка. Что делать, что делать?! Сегодня убьют моего мужа. Куда бежать, кому в ноги кинуться? А кинусь к какому начальнику в ноги – не посадят, не убьют ли и меня следом? С кем останутся наши сыновья, какая судьба ждёт их? Слышала и видела воочию – семьи врагов народа разоряют: малолетних детей в детские дома отдают, жён и других взрослых родственников в лучшем случае взашей прогоняют из жилища их родного, хоть на улице под забором живи-помирай, а то – лагеря, неволя каторжная. Саша в тот год ещё учился в Ленинграде, и – цепляюсь за обрывочки разума – как узнают про отца его – арестуют, убьют, ведь он уже совершеннолетний. Может, про отца не узнают – ведь далеко-далёко Ленинград от Сибири. А вот если я кинусь куда с просьбами да мольбами (хотя – куда, ночью-то!), – зацепятся, и пропал мой Сашенька. А потому – сидеть, сидеть тихонько, мышкой в норке, – вот чего я стала продумкивать да соображать мало-помалу.

Уже хотела встать, подойти к Паше, посмотреть на него, спавшего в соседней комнате, потом – к иконе Богородицы: заступу испросить, вышнюю милость, да вдруг – кто-то подтолкнул меня в плечо. «Мама, мама, вставай. Пойдём», – слышу, будто из тумана и далека, из какого-то уже другого для меня мира. Пашенька, сыночек надо мной стоит. Через силу поднимаюсь на колени, вцепляюсь в него. Жму, притискаю к себе ватными руками. Мальчонка он ещё, только тринадцать исполнилось, а смекалистый, решительный, бойкий такой рос у нас. Хорошо учился, барабанщиком был в пионерском отряде, юный, а уже со значком ворошиловского стрелка, в лыжники-разрядники пробился ещё десятилетним. Радовались мы на него с Платоном Андреевичем. Мечтали, в военные пойдёт, академию окончит, в генералы, глядишь, выйдет.

«Куда, сынок, пойдём?» – спрашиваю. С трудом поднялась на ноги полностью. А покачивает меня, точно пьяную. «Одевайся, в Пивовариху пойдём. Папу спасём. Я слышал твой разговор с дядей Гошей. А про полигон тот мне известно: нынешним летом, когда я с папой и его ротой ездил на стрельбища, то лесной дорогой проезжали мы мимо одного дома, папа шепнул мне: “Смотри, вон за черёмухами большой бревенчатый дом, это Дача лунного короля. Тут спецзона и полигон НКВД. Страсть, что брешут про эти места!” – “А что брешут?” – спросил я. Но папа промолчал, козью ножку стал свёртывать. Километрах в пяти от Дачи – стрельбище Красных казарм... Ну же, вставай, мама! Одевайся. Часа за три доберёмся. Спасём папу. Там кругом леса – легко пробраться к полигону. Забора я не заметил, только колючка болтается от дерева к дереву. Патруль, правда, ходит, но собак с ними я не заметил. Айда же, мама! Спасём, обязательно спасём!»

«Но как спасём, сынок, если под стражей он теперь?» – машинально думаю я, но не спрашиваю у него, потому что помню и верю: устами младенца глаголет истина. Не хочу и не могу поколебать его веру и желание. Торопит, подталкивает меня, и всё одно по одному: пойдём да пойдём, скорее да скорее, надо торопиться. Наконец, оделись мы, вышли на улицу.

4

Что ж, идём. Но то идём, то бежим. А куда, что? – минутами не пойму, не соображаю. И ведь вдуматься бы тогда: сумасшествие, сумасбродство, гибель наша. Ночь, пустынно, ни огонька, город вымерший и тихий, как кладбище. Только раз, другой пронеслась машина. Мы поняли: воронок. Жуть. Кого-нибудь ещё арестовали и везут на бойню. Собаки, слыша наши шаги, просыпаются – брешут, рвутся с цепи, подлые. Страшно: не дай бог, кто заметит, – скрутят, вызовут воронок и – пропали мы. Я-то – ладно, уж пожила, порадовалась свету божьему, а вот Пашу, мальчонку, загубят почём зря.

Морозно, зазимки инея и ледка под ногами шуршат и хрустят – ведь уже октябрь. Но жарко, вся горю, вся в огне. Как прошли улицами и заулками Иркутска, даже как минули этот наш огромный мост через Ангару, а потом за Знаменским монастырём двинулись тропами и прогалинами по берегу Ушаковки, – не вполне помню. Будто не сама я шла, а какая-то неведомая сила меня несла на крыльях. В пути припомнились мне давнишние разговоры про Дачу лунного короля. Народ уже наслышан был о Даче, о спецзоне, но как-то верилось – не верилось, что людей там убивают, ни за что ни про что убивают, казнят. А прозвание, к слову, она такое получила ещё до революции: в тех краях после якутской каторги обосновался, кажется, в семидесятых годах прошлого века, ссыльный поляк-революционер, знатный дворянин, по фамилии, если память не изменяет, Огрызко. Дом основательный построил и долгие годы прожил в нём. Потом, говорят, на родину в Польшу всё-таки уехал. Какое-то у него было сложное заболевание глаз: на дневном свету ему совсем нельзя было находиться, и он лишь потемну выходил на свежий воздух, прогуливался. Полноценно жил, можно сказать, по ночам. И вот теперь снова здесь началась ночная, но уже чёрная, безобразная жизнь. По словам Гоши, скотобойню открыли: привозят – убивают, привозят – убивают. И трупами привозят, в подвалах убивив, и живыми везут, но путь всем один – в землю, в братскую могилу. Да, только наличием могил люди и отличались от скота. Уму непостижимо, деточка моя Катя.

Голос старушки ссекло, она замолчала. Однако Екатерине показалось, что голос всё же звучит, своевольно продолжая страшный рассказ. Но Екатерина догадывается: это её сердце слышит сердце несчастной женщины – матери и жены.

– Ну, вот, опять я замолчала. Но надо досказать, обязательно надо. Ты – молодая, тебе жить дальше и... помнить. Обязательно помнить... Так, идём мы, идём. Темень, незнакомая округа, то лесá чащобников, то распахи еланей, каких-то вырубков, торфяных ям. Уж начинало

казаться: и здесь были, и там были. Думала, заблудились, кружим и никакой Дачи лунного короля не отыщем.

Ан нет! Сынок мой вдруг останавливается, всматривается, указывает рукой и шепчет: «Вон Дача лунного короля!» Я обмерла, хотя самого дома разглядеть не могу: кусты и мрак утаивают его, только горбину кровли угадываю. «Так вот они где гулеванят», – думаю.

Стоим, долго стоим, перетаптываемся. Куда идти-брести – неведомо, что делать, как поступить – не знаем. Но вдруг: чуем – в отдалении голоса. Кто-то вышел из Дачи лунного короля и – немного позже я поняла – направился *туда*... на сам, как значитесь в их *государственных* бумагах, *полигон*. Слово-то какое подобрали хитромудрое, криводушное, а ведь попросту, по-русски-то, – бойня. Приседаем на корточки за куст, затаиваемся. «...Опять эту ночь не поспим, – говорит кто-то и зевает. – Хорошо, сегодня скот забитым привезут, а не живяком. С этими вертлявыми живяками намучаешься, пока угомонишь их... навечно», – хохотнул голос. А кто-то другой с позевотами отзывается: «Да, вошкотни, кажись, не много будет: свалим в траншею, живяки присыплут землёй, потом забьём и его. И – эх! – дёру дрыхнуть». – «Скорей бы уж доставили, что ли...»

«Скот... Забьём... Живяк... Угомонить...» – Понимаю и не понимаю. А если понимать как надо – *как* жить в *ту* минуту надо было бы?

«Пашенька, Пашенька, сыночек...» – шепчу одеревеневшими от страха и ужаса губами. Но что хочу сказать и что нужно сказать – не понимаю. Не понимаю ни на грамм. Уже немеют мозги, стынет кровь, сердце мертвеет, будто сама оказалась в могиле, а надо мной земля и она дышит.

Голоса и шаги отдалились, вовсе сгасли. Легко догадаться: то был патруль, обслуга полигона. Скотозабойщики.

Сидим на корточках за кустом. Что делать, куда бежать-идти или ползти – не знаем. «Скот... Забьём... Живяк...» Страх меня одолевает, но страх другого рода: страх того, *понял ли* Паша? Нельзя, чтоб понял. Нельзя, никак нельзя. Маленький он ещё, душа его детская неокрепшая – погибель ей, если даже выживет физически. Что делать?.. Чувства, Катенька, жгут меня сейчас так же, как и тогда.

Ещё постояли бы мы минуту-другую – и я потянула бы сына назад, домой. Бегом, скорее бы от этого ужасного места! Я поняла: мужа, любезного супруга моего Платона Андреевича не спасти никакими силами и, возможно, он уже мёртв, убит, но мы-то ещё можем выжить. И мне, как никогда, нужно выжить и жить, потому что завещал же он мне: береги наших детей, вытяни их к свету и правде, тяжело тебе будет, но не сдавайся.

Однако ни минуты, ни другой минуты нам не оставалось про запас, потому что внезапно по тьме от земли полоснуло, как грозowymi молниями, огнями. Неподальёку затарахтели машины. Понятно было: со стороны большеголовуштенского тракта, от Теребеевки-дороги, не доезжая Пивоварихи и чуть левее Дачи лунного короля, въехали на просёлочную дорогу машины, явно целая колонна. Мы тогда не знали, но догадались: это – *та* колонна и в одной из машин – *он*, живой или мёртвый. В своё волчье время *они* и приехали.

«Идём туда!» – скомандовал, но шепотком, Паша. Он был решительным, он был смелым, он был прекрасным моим сыном. И – пошёл. Без меня. Видимо, почувствовал, что я хочу отступить, вернуться, сдатьсь. Он понял, что где-то рядом отец, и не мог, да и, понимаю теперь, не смог бы отступить.

Догнала. Потянула назад, повисла на его плече. Он вырвался. И мне остаётся только лишь просить его, шепотком: «Таись, таись!..»

Наткнулись на колючую проволоку, она от ствола к стволу протянута в четыре-пять струн. Паша в мгновение ока поднырнул в жухлую траву, изогнулся и – там уже. Говорит: «Мама, вернись. Я – сам, один». И – нырк во тьму, как в омут. Я обезумела. Ни мыслей, ни чувств. Навалилась всем телом, будто каким посторонним предметом, на колючку, нажимом

промяла её и рывком, перехватившись с противоположной стороны за нижнюю проволоку, перекувырнулась. А почему я таким манером поступила, Катя? Да потому что под проволокой я не пролезла бы, а Паша, ясно, не помог бы. Побежала во весь дух, и потом уж поняла – разорвала, искорячала себе лицо, изранила грудь и ладони, но боли и крови не чувала. Лишь много позже обнаружила на себе напитанное кровью бельё, а про лицо думала, когда заливало глаза, что это пот. Смахивала ладонью. Сына догнала какими-то невероятными прыжками. «Мы – вместе, – говорю ему. – Тише, сынок, тише. Умерь шаг. Не услышали бы: вдруг здесь посты и засады». Но его было не остановить, не укротить. И я бесповоротно смирилась. С судьбой смирилась.

Наверное, с километр прошагали мы, держались света фар и рокота двигателей.

За облаком молодых сосен увидели три-четыре крытых брезентом ЗИСа. Они стояли на довольно просторной поляне, разномастно, по-всякому были повёрнуты, и две машины освещали всю поляну. Видим – строй НКВД. Фуражки ярко горят красными околышами и синим верхом. Бежевые бекешки. Сапоги начищенные, сверкают. Ружья, пистолеты на изготовке. Как на параде. Пригибаю сына, валю его наземь. «Тише, тише!..»

«Папа!» – осиплым шёпотом вдруг вскрикнул он.

Я вдавила в его губы ладонь, повалила на землю, шепчу, а может быть, уже и рычала, как самка зверя: «Тише, тише...» Он сильный у меня, не по возрасту развитой, однако не может в моих руках даже ворохнуть, поднять голову. Неизвестно, отчего во мне в те секунды между жизнью и смертью мощь силы невероятно возросла, стала необоримой. «Тише, тише, – всё шепчу. – Я отпущу тебя, но ты не двигайся, лежи, головы не поднимай. Хорошо?» Он смаргивает мне: мол, согласен, отпусти. И я пытаюсь разжать руки, раздвинуться плечами, туловищем, ан не могу: я вся окостенела.

Через силу и на чуток приподнимаю голову из-за кочки с сухотравьем и вижу с неожиданной для себя холодной отчётливостью: да, воистину Платон мой Андреевич, муж мой любезный и отец наших детей. Вместе с другими арестантами – а все они полусогнутые, в кровоподтёках, ковыляющие доходяги – таскает за руки за ноги из кузова трупы и сбрасывает их в яму.

Вдруг – чудо: слышу от кузова, но едва различимо, его голос родной: «Товарищи, тут живой человек, ещё дышит». – «Тащи, сбрасывай», – с этакой хамоватой небрежностью отвечают ему. «Да как же, братовья: живого-то – в яму?» И я вроде как радуюсь: узнаю *живую* душу родненького Платона моего Андреевича: где несправедливость, неправда, там он горяч бывал, непримирим. «Сбрасывай, падла!» – гавкают. И – прикладом винтовки по спине Платону моему Андреевичу. А вдогон – пинками, пинками, а ещё прикладами, прикладами. Двое, трое вояк орудовали. Упал мой родненький, стал кровью харкать. «Живее, падлы!» И арестантов, что замешкались неволью, приостановились, тоже – буцкать сапогами, прикладами куда попадя.

Приподнялся мой, кой-как выпрямился, сплюнул кровь, стал снова таскать.

А я одно накрепко понимаю: не надо выпускать Пашу. Держать его из последних сил, не дать взглянуть на смертоубийство, на изуверство недочеловечье. Если выпущу – потеряю навеки. Он бурчит, я конечно же понимаю: отпусти, мол, или, наверное, поослабь хватку, дышать тяжело. «Потерпи, Пашенька, потерпи», – шепчу ему в самое ухо. Он понимает, соглашается, и минутами замирает вовсе: шуметь нельзя, потому как смертынька рядом бродит.

Всё: перетаскали, сбросили. Всучили им лопаты: «Закапывайте!» Но взмахнули они лопатами с десятков раз каждый – команда: «Стоп!» Да, как и говорил Гоша: в несколько пластов набрасывали трупы, чуть присыпали землёй. И следующую партию «забитого скота» – сверху.

Арестантов, наверное, человек двенадцать, так вот где-то так восьмерым из них связали руки за спиной, поставили на колени, а остальным велели взять лопаты. Стоят те, связанные, понуро. И все они вместе, и связанные и несвязанные, ещё, думаю, не знали, чему дальше случиться, хотя могли и догадываться. Но таков любой человек: до последнего вздоха верит

и уповаает. А дальше вот что началось. «Построиться в шеренгу! – распоряжается командир тем, несвязанным. – Живее, падлы!» Сам командир-то этот, видно, что молоденький, и юркий, бегучий такой, а лицо гаденькое – маленькое, недоразвитое, скомканное в морщины, как у старичка. Зверёк, одним словом... старичок-то – то человек. Тем, что несвязанные, а среди них оказался и Платон Андреевич, велят взять лопаты: «По команде “Коли!” наносите этим врагам народа удар по шейному позвонку или черепку. Прикончите их – останетесь жить сами. Коли! Ну!» Те, что связанные, закричали, и закричали-то как страшно, ка-а-ак страшно: и подетски жалостливо, и – безобразно так. Оборачиваться стали, кто-то рванулся было бежать, но им молниеносно – по голове, в шею, в горло, в лицо, куда попадало. Слышала, слышала жуть эту жуткую: кости, черепá трещали. А сама до того сжала Пашу, что он стал задыхаться.

Вижу: мой-то Платон Андреевич лопаты не поднял, не ударил жертву. Командир этот мерзкий к нему подбежал, ударом кулака повалил наземь, пинал, топтал. В троих поочередно ткнул пальцем: «Коли, коли, коли!»

И те... и те... Радые: ведь жизнь им обещана.

Я не смогла смотреть, уткнулась в Пашу. Но ни рыдать, ни дышать невозможно было. Он понял, что отца уже нет, – затих, но не размяк – в нечеловечьей натуге отвердел каждым мускулом, стал, казалось мне, больше, даже могучим, словно бы в секунды превратился во взрослого мужика. Ведь мог бы, думаю, лишь шевельнуться – и сбросил бы меня, как куклу, освободился бы. Но – лежал. А держала ли я его в те минуты – не знаю. Наверное, уже не было во мне сил. Ни физических, ни духа.

А что же эта нелюдь тем временем? Велели арестантам самым доброхотным тоном побросать трупы в яму, присыпать землёй. Сказали им: «Сейчас на машинах вернёмся в управу и вас с ходу освободят по амнистии. К врагам народа вы беспощадны, доказали свою преданность советскому народу. Молодцы! К бабам своим вернётесь, к детям – эх, заживёте! Но руки в дорогу вам надо связать: так положено по инструкции, товарищи. Вы ведь всё ещё арестованные», – похохатывает этот зверёк.

Те, наивные души, и дались им, да ещё лопотали: «Вот, вот она, справедливость. Спасибо, спасибо, товарищи...» И только связали их – налетела эта нелюдь с лопатами и молотками. Хрусть-хрусть, хрусть-хрусть, – ей-богу, я слышала, как хрипел и скрежетал даже сам воздух.

Всех забили. Как скот. Хотя со скотом-то на живодёрне помилосерднее обходятся. Сбросили в яму, чуть присыпали землёй.

«Эй, Луценко! – говорит этот мозглявый, этот зверёк... Господи, да зачем я сравниваю его со зверьком? Зверёк-то, оно и звучит ласково. Но с чем сравнить, чтоб уяснить всю жуткосту этих злодеяний?.. Снимает фуражку, рукавом гимнастёрки вытирает пот со лба. Говорит запыхавшимся голосом: “Бойцам по пачке махорки выдать: как-никак патронов двадцать – двадцать пять сегодня сберегли”. – «Слушаюсь! Прошлый-то раз, товарищ лейтенант, вас не было, так скот брыкаться начал, трое драпанули в кусты, пришлось потратиться на патроны. Шуму понаделали, страсть. От начальства нагоняй схлопотали. А нонче ловко мы их с вами. Ай, ловко и хитро! Может, внеочередной отпуск дадут, как думаете, товарищ лейтенант?» – И угодливо похихикивает.

«Дадут, потом поддадут, – пошучивает это мозглявое создание. – Будя, Луценко, чесать языком, дуй-кась на Дачу: пушай столы накрывают. Да водку чтоб остудили: в прошлый раз мочу подали. Ну, живо!» – «Слушаюсь, товарищ лейтенант!» – «Эй, Хаврошин, лопаты счоронить под кустом, не надо их на Дачу тащить: завтра работёнки ещё поболее будет, четырьмя автоколоннами голов под пятьдесят пригонят».

Наконец, машины тронулись. Некоторые из этого нелюдья запрыгнули в кабины и под тенты, а другие тропой направились лесом в сторону Дачи. Посмеивались, подначивали друг друга, словно бы с танцев да с гулянок шли. Минута-другая и – тишина. Тишина, ночь, октябрьский морозец, занявшаяся над лесом луна и – жуть. Жуть несусветная, жуть обыденности этого

мира, когда миру сему уже, быть может, нельзя существовать. Но он... но он и по сей день существует, перебогши самую кровавую на свете войну.

5

Я не заметила, как и когда мои руки разжались. Перевалилась на спину, но с великим трудом, потому что чувствовала себя окоченевшим трупом, бревном. Лежу, слушаю, а что слушаю, зачем слушаю и зачем понимаю – непостижимо было. Да и лежу зачем, и дышу зачем, и живу зачем – неведомо. Никчемностью представилась сама жизнь, наши человечьи радости и горести, наши умные и глупые слова. Тьма крошечная, хотя луна светит, всё ярче разгорается. Нет ни земли, ни неба, ни лесов вокруг. Но тьма конечно же, Катя, установилась внутри меня. И мне не надо было ни земли, ни неба, ни солнца с луной – ничего, ничего не надо было. Только одно чувствовала и как-то осознавала: мне не надо жить. Вот прямо сейчас и прервать жизнь, остановить работу рассудка! Наверное, я потеряла сознание на какое-то, наверное, очень короткое, время, провалилась в глубокую яму своего горя и только что пережитого страха.

– Мир Божий? – тихонько спросила Екатерина.

Старушка, не медля ничуть, ответила:

– Мир Божий. Бог и нелюдей посылает на нас, чтобы мы ужаснулись грехам своим и чужим, а потом притиснулись по отдельности или общинами или даже целыми народами к Богу и святым отцам нашим. Где помнят о Боге всечасно, там и человек как человек, там и народ как народ: духовно опрятны, чинны. Но без испытаний и памяти горестной об этих испытаниях человеком не стать, в народ не сложиться, а быть стадом быдличим, да у пастуха какого-нибудь залётного да каверзного.

Старушка строго, но коротко помолчала.

Екатерина шепнула, невольно:

– Простите.

А Евдокия Павловна продолжила рассказ, казалось, и не прерывалась, не говорила высоким слогом:

– Очнулась я – батюшки: нет рядом Паши! Кровь страха во мне закипела, ринулась по жилам, ожгла душу. И она, родимая, ожила. Я вскочила, устремилась в ночь, не разбирала дороги. Крикнула в отчаянии: «Сынок!» И вдруг то, что я впотымах приняла поначалу за бугор, поворачивается ко мне. И я вижу освещённое луной лицо. Лицо незнакомое мне, лицо, будто высеченное из камня.

Я не сразу поняла: он, сыночек мой. Сидел Паша над траншеей, по самому по-на краю. Знаешь, Катя, – как глыба памятная на могиле.

– Мама, мы его здесь не оставим, – шершаво и лязгающе, так, будто внутри камня перетрачивались, сказал он. – Они его как собаку... – Он помолчал и вдруг произнёс, и цедил даже не столько слова, а буквы, звуки, подвздохи: – Если я вырасту... я... им... – И он замолчал, и молчал, думаю, потому, что не мог разжать зубы. И больше – ни слова, ни вздоха. Он весь стал камнем. И внешне, и внутри.

Да, он превратился в другого человека. В те летучие десятки минут до и после казни отца он и изменился столь разительно: можно сказать, что вырос, возмужал, но одновременно и постарел. Ссутулило, даже сгорбило его, как старца. Потом, уже дома, я обнаружила, что он ещё и поседел. А если бы он увидел вживе саму казнь!..

Я спрыгнула в траншею. Металась: разгребала руками землю и тут, и там. В какое-то мгновение поняла ладонями: это его лицо, родное, единственное, в пышноте его роскошных усов. Оно было ещё мягким и, почудилось мне, тёплым, а потому я в каком-то порыве позвала: «Платоша, слышишь, Платоша?»

Паша вскрикнул, как бывало, когда он, после томительного поджидания, встречал отца со службы, бежал к нему, повисал на шее: «Папа, папа!»

Вот так вот по-детски, вроде как радостно, позвал он отца и прыгнул в яму.

Я в какое-то мгновение поверила: живой Платон мой Андреевич, живой мой родненький супруг. С Пашей, как безумные, тормозили его. Но уже через секунды поняли воочую – никогда, никогдашеньки-то его не будет с нами.

«Полезай наверх, – велела я Паше. – Я приподниму его и буду подталкивать, а ты перехватывай, упирайся ногами и тяни вовсю».

Еле-еле вырвали из ямы. Он же у нас был крепышом, тяжёлым. Лежит перед нами, изрубленный, но по-прежнему могучий, мощью своей *живой, не убитый, не сломленный*. Мы же на коленях склонились над ним, а что дальше делать – не подумали ведь. Где же захоронить его? Ни до какого кладбища не донесём, не дотянем, попутку или подводу остановить на Голоустненском тракте? – что подумают люди, не заявят ли на нас. Да и скоро уже светать будет: узрят нас эти изверги рода человеческого – беда, погибель.

«Потянули», – сказал Паша. «Куда?» – спрашиваю. «Хоть куда. Давай – туда», – мотнул он головой. Что ж, потянули туда. Проволока-колючка на пути. Тут уж Паша помог мне поднырнуть под неё: придержал нижнюю струну. Вытянули-вытолкали. Вот так попал он, наш родненький, на свободу, в руки семьи своей. «Прихвати пару лопат, – говорю Паше. – Мало-помалу утянем в тот лесок – всё человечья могилка ему будет. После потихоньку в темноте приходиться можно, а если когда-нибудь наступить на Руси нашей святой добрым временам – так честь честью поступим: перезахороним на погосте, отпоём».

Евдокия Павловна помолчала, припустив вычерненную плёночку век.

– Но когда им наступить, Катенька, когда? – тихонько вздохнула, покачнувши сухонькой головой.

Ответа не стала дожидаться.

Долго, тяжко волокли мы: час, два, – не понять было, время и чувства в голове перепутались. Горько-солёным потом исходили, аж глаза жгло, ладони и колени кололо и резало камнями, наростами льда по мерзловатой земле, в рытвины с льдистой водой проваливались, густую жёсткую траву или кустарники одолевали. Измаялись вусмерть, порой отчаивались. Но след не забывали тотчас заметить руками, охапками листву да быльё насыпали.

Когда же, наконец, принялись копать могилку в укрытом кустами местечке, зорька брызнула. Орудую я лопатой и взглядываю на небо: не выдай, Господи! Ведь патрули злыдневские могут шариться где-нибудь поблизости. Спешили что было сил. А сил физических уже, кажется, и не было вовсе. Но дух держал нас на ногах и черенку лопаты не давал вывалиться из рук.

Поглядываю на Пашу: штык лопаты врубает в грунт, а сам лицом – камень, зубы давит, молчит сосредоточенно, будто задумал чего. До самого его ухода на фронт в сорок третьем я ни разу не увидела, Катенька, улыбки на его лице.

Земелька наша таёжная тяжела, норовиста, сама знаешь. Благо, что ещё немерзлой была. Глубиной в пол моего роста всё же выкопали мы кое-как. Постояли перед дорогим нашим человеком на коленях – нет сил ни на что: ни на слёзы, ни на слова. Да и что говорить было! «Хороним, а омыть бы надо, хотя бы лицо», – сказала я. Так сказала, не подумавши: воды-то где взять? Лужи – лёд, а подо льдом – полосочка грязной водицы. Да и не водица то, а взвесь, жижа. Паша встал с колен, легонько раздробил лопатой ближайшую лужу, набрал в горсть льда, над лицом отца попытался в ладонях натаять. Не получилось, потому как руки у нас застыли, сами ледышками стали. Расстегнул он свою рубашку, приложил лёд к груди – влагой, каплями омыл отца.

Я осенила родное лицо крестным знаменем, поцеловала в лоб. Кое-как опустили-ска-тили. Да старались, чтоб не упал он, а прилично, благообразно лёг. Закопали, махонький хол-

мик нагребли, листья-травы натрусили сверху: пойми, что могила. Лопаты сбросили в какой-то ров, закидали ветками и листвой и – бегом, бегом к городу, но уже другой дорогой, не той окаянной, кровавой, на которой нас могли заметить и сцапать. Уже по дневному свету вошли в первую улицу Иркутска. Умылись, обчистились мало-мало у первой встреченной колонки, побрели, родимые, домой. Не помню хорошенько, как дошли, потому как свет белый и людей видеть тяжело было.

Через сутки, через полтора ли являются к нам два милиционера. Один хамоватый, развязный такой, а второй – серьёзный и строгий, но вежливый, одним словом, приличный человек. «Выселяйтесь, – заявляет этот хамоватый, – потому как вы родственники врага народа». «Куда же, – спрашиваю, – выселяться?» – «Да хоть куда. На, читай постановление, расписывайся и выметайся». А сам зенками рыщет: уже, верно, приглядывает, чего ему перепадёт при дележе. Они, эти злыдни, богатели в те годы на таких, как мы, горемычных, оболганных, и жилища, и имущество наши присваивали себе. «У меня малое детё. Куда же мы по холоду?» – спрашиваю внешне хладнокровно, а сама – и в огне, и в холоде, не понять было ощущений. «Будка собачья во дворе – можешь утащить с собой», – хохотнул, подлец.

«Мой отец мученически погиб за советскую власть от рук белочехов. Не имеешь права выселять дочь героя гражданской войны!» Заговорила-то я, Катенька, смело, а поджилочки-то дрожали. Вижу, смутился этот злыдень. И я – давай, давай наступать: «Пойду в райком партии – всыпят тебе, а то и во враги народа сам угодишь! Ишь чего удумал: дочь и внука героя гражданской войны выселять да вышвыривать на улицу!» – указываю я на Пашу. Сын сутуло стоит особняком в сторонке, зубы стиснул, лицом тёмен, как старый мужик. «И супруг мой, – всё наступаю я, – никакой не враг народа: пришла весточка из следственных органов, что завтра или послезавтра освободят его из-под ареста. Ошибка вышла! Партия разобралась!» Вот такую вот, Катя, закорючину я выдала со страху. Выдумывала – страсть! Что откуда бралось! Вижу, заюлил злыдень, малёшко даже растерялся, помалкивает и сопит. А этот, серьёзный, спрашивает: «Бумага имеется, что он герой?» – «На руках нет, но мне её выпишут в Кудимовке, где он погиб. Сейчас же помчусь туда». – «Ладно. Завтра со справкой зайдите в райотдел НКВД». И назвал мне кабинет и своё имя.

Ушли. Этот, хамоватый, фыркал и ощеривался, как озлётный пёс. В окно подсмотрела: во дворе и на улице размахивал руками, – должно, что-то доказывал напарнику. Но тот не отвечал, шёл твёрдо и стремительно, будто хотел побыстрее отвести от нашего дома этого злыдня.

Я шапку в охапку и бегом на большую дорогу – ловить попутку. К утру на десяти перекладных, наконец, добралась до родной моей таёжной Кудимовки, в сельсовете заскакиваю к Савве Кривоносову, бывшему нашему партизанскому командиру, а теперь председателю сельсовета. Так и так, говорю, Савва Петрович, муж мой пострадал, а меня с семьёй хотят выселить из дому, выпиши, добрая душа, справку с гербовой печатью, что мой отец героически погиб за советскую власть. «Погиб-то он погиб, конечно, но ведь кулаком был», – поразмыслив и пораспросив меня поподробнее о муже и всех обстоятельствах (я и ему врала, всей правды не говорила), ответственвал мне Савва. «Если бы не мой отец, сидел бы ты сейчас здесь живёхоньким и здоровёхоньким?» – «Оно, конечно, Евдокия, так, ежели по совести. Да времена-то нонче какие – сама видишь. Выпишу тебе бумагу, а начнут органы ковыряться – и меня следом сгребут: мол, кулака перевозносишь, падла». – «А ещё партизан, командир наш! Трус ты, вот кто ты!» – не щажу я его, злю, можно сказать. Но он мужик, Катя, простодушный, честный, совестливый. Вижу: неловко ему жутко, аж заёрзал на лавке. И чую: вот-вот душой откроется, а потому наступаю, тереблю: «Повсюду с храмов кресты посбивали, устроили внутри склады да жилища, а в нашей Кудимовке хотя и закрыта церковка, да с крестом красуется. Значит, есть в тебе, Савва, что-то святое». «Да не дави ты на совесть, не вывёртывай мою душу! Будет тебе справка, но знай: и вокруг меня уже вороньё вьётся, не сегодня, так завтра нагрянут». Нацарапал он бумагу, хотя и полуграмотно, но искренно, по-человечьи сказал в ней о моём отце, что

«и жись и именье своё отдал рабоче-крестьянской власти нашей родной». Печатью шлёпнул по бумаге, всунул её мне: «Иди, выручай своего благоверного. Может, и обо мне кто-нибудь похлопочет, ежели чего...» Не досказал, отмахнулся рукой, притворился хмурым да занятым.

Я поясню поклонилась ему, сказала: «Христос тебя спаси, Саввушка». – «Да нужны ли мы Богу... такие-то?» – спросил он. «Нужны, – ответила я. – Потому как все мы Его дети». – «Все?» – «Все». – «Хм», – хмыкнул он и отмахнул мне рукой: мол, уходи скорее.

Через полгода, раньше ли узнала я, что и Савву сграбастала люгующая нечисть. Жив ли он – неизвестно. Может быть, недалече от Платона моего Андреевича лежит.

Ну так вот, взяла я эту заветную бумагу и полетела назад. Воистину: не шла, не бежала, не ехала, а, наверное, летела на каких-то волшебных крыльях, потому что как оказалась в Иркутске, в нашем родном Глазковском предместье да в нужном кабинете райотдела – не помню, хоть убей. Передала бумагу тому отзывчивому милиционеру, а сама, ждучи ответа, вся горю палящим огнём. Прочитал он въедчиво, с прищуркой, сказал: «Про то, что вашего мужа оправдали, вы нам соврали». «Да, соврала, – сказала я. – Но что же мне оставалось делать? У меня на руках ребёнок». «А вы знаете, *что* с ним?» – после долгого молчания спросил он и неожиданно, как мальчик, отвёл глаза, не смог смотреть в мои. Да, он конечно же уже знал, выяснил, *что* с Платоном Андреевичем. «Мой муж скоро выйдет на свободу», – ответила я. Он пристально, но коротко посмотрел на меня: «Ладно, пусть будет так. Добьюсь, чтобы постановление о выселении отменили. Тем более что отзывы с места вашей работы, из школы, очень даже положительные. Что ж, идите. – И уже когда я вышла из кабинета, но ещё не закрыла дверь, он произнёс в полголоса: – Берегите обоих сыновей. Впереди большая *чудесная* жизнь и нам непременно надо до неё дожить. Мы построим коммунизм и в нём всем нам славно будет житься».

Знаешь, Катя, как-то так по-особенному сказал он «чудесная». Я оглянулась и увидела в его глазах блеск. Нет, конечно, он не плакал. Но что-то было, Катенька, в его глазах, что-то было такое, понимаешь, по-особенному трогательное: и по-детски наивное и светлое и одновременно по-стариковски печальное и тёмное. Мне его стало жалко, как сына. Наверное, молодого человека ждала непростая судьба.

Старушка помолчала, неопределённо покачивая головой, добавила:

– Как бы нас не мучили и не казнили, а людей хороших всё одно не убывает на русской земле. Верь, Катенька, в людей, как бы тяжело тебе ни было.

Екатерина в бледной напряжённой улыбке сморгнула, не найдя ни одного *настоящего* слова, а произносить что-либо случайное не хотела или даже не смела.

– Но, как говорят, пришла беда – отворяй ворота. Пробегают, Катенька, дни, недели, минул уж месяц, а вестей от Саши, от старшего сына, нет. Раньше в неделю, в две письмецо получали, бывали и звонки из Ленинграда – отцу в Красные казармы, а тут – молчание полное. Затревожилась я. Не пострадал ли за отца? Ведь злыдни могли направить бумагу в Ленинград: проверьте-ка сынка врага народа. Те своей бесовской прытью проверили, арестовали, выбили какие-нибудь абсурдные показания и... и...

Женщина оборвалась, её лицо повело, но она, одолевая тяготу чувств, продолжила рассказ:

– Что делать? Звоню в институт, в приёмную ректора. Спрашиваю: «Могу ли я узнать, что с моим сыном Александром Платоновичем Елистратовым? Письма исправно писал, звонил, а теперь почему-то тишина». Слышу, там пошуршали бумагами, полистали чего-то, пошептались. Неожиданно – гудки. Боже, что такое?! Чует моё сердце: беда стряслась. Но понимаю с горечью и отчаянием: начну настырничать, выяснять – ведь куда следует сообщат, и снова возьмутся за нас, *ещё* живых.

День, два, неделю терпела. Но как же сердцу матери выдержать? Снова позвонила. Ответили скороговоркой и чуть не шёпотом: «Прекратите звонить. Это в ваших интересах». И снова – обрыв. А гудки – как сильные вздохи из глубокой ямы. Я осознала неумолимый ужас случив-

шегоя: Саши, моего сыночка, моей кровиночки, больше нет в живых. И его замучили и убили. Можно было, конечно, предположить, что осудили и отправили в лагерь... но я-то видела, *куда* и *как* отправляют их. И теперь уже столько лет прошло – ни весточки о нём. После войны я направляла запрос в официальные органы – молчание. Но я, Катя, скоро со всеми моими родными встречусь, наперекор всем злыдням и преградам. Знаешь, обнимемся, поговорим, поплачем и, может быть, посмеёмся и – навсегда, навечно будем вместе. Скорей бы.

6

Екатерина взяла её руку и поцеловала. Обе молчали и слушали вьюгу, упорно бившуюся в стены дома и ставни. Но сила остервенения ветра уже ослабла, непогода очевидно угасала, смирялась. В щёлку ставни стал просачиваться свет раннего утра, пока ещё тусклый и неверный. Екатерина остро и желанно почувствовала: ночи конец, впереди день и никакая ночь и непогода не могут быть вечными. Конечно же хотелось узнать, что случилось с Павлом, но она не смела спрашивать. Ей показалось, что Евдокия Павловна, лежавшая с закрытыми глазами, задремала, и хотела было встать и уйти к себе, тем более через час-полтора нужно будет собираться на работу, однако услышала:

– Я не сплю, Катя, я немножко передохнула. Мне уже не нужны силы по жизни, но они мне нужны сейчас, чтобы тебе досказать. Я *должна* досказать: чтобы *ты* знала и помнила. И если кому-нибудь когда-нибудь расскажешь – чтобы *и они* знали и помнили. Ты же хочешь узнать, что стряслось с Пашей? Слушай... пока я могу и хочу говорить.

Горевала я страшно: Саши нет! Нет. Саши не будет с нами, он не построит дома и заводы, как мечтал в юности, потому и пошёл на инженера, не создаст семьи, не родит для меня внуков. Бывало, во время урока я неожиданно замолкала, опускалась на стул, но потом не помнила, что со мной было. А детишки после перебивали друг дружку и рассказывали мне: сидела, мол, как статуя, и глядела в одну точку. «Стра-а-а-ш-ш-шно было!» – говорили они. Очнусь – вижу, не вижу, слышу, не слышу. Не осознаю, кто и что передо мной. Знаешь, Катя, если бы не Паша, я ушла бы из жизни легко и просто, не задумываясь: так было горько, до того невыносимо стало осознавать, что я всё ещё живу, а он – нет.

Приходила домой – Паша, родненький мой сыночек, дожидается меня. Значит, я должна шевелиться, жить. Ещё жить. Всё же жить.

И ему несладко жилось: в школе его дразнили «вражиной», «ублюдком шпионским». Он дрался с мальчишками. Насмерть дрался. Именно насмерть, а не чтобы победить, что-то доказать. Он был сильный, решительный, и справлялся с обидчиками довольно легко, но в каком-то угаре, вроде как в состоянии бессознательности, безумия. Я видела: он ожесточался, становился беспощадным, неистовым. Иногда мог сказать мне: «Все вокруг сволочи». А любимым его словом стало – «ненавижу». Однажды спросил меня, а до-о-олго, знаешь, не осмеливался: «Они и Сашу забили?» Он не сказал – «как скот», но я поняла. Не ответила, промолчала, погладила его по голове, поцеловала в темечко. И он больше не спрашивал.

Я чаще и чаще замечала за ним привычку, а она там зародилась, в расстрельной зоне: он вроде как без видимых причин вдруг сжимал зубы, аж челюсть дрожала, а кадык выпирало колом. И так со сжатыми подолгу молчал, не отзывался, если я обращалась к нему. Понимала: недетские мысли и чувства угнетали его. Привлекала к себе, гладила, но чувствовала, что он по-особенному, непривычно неподатлив становился – весь какой-то тугой, стянутый, точно бы пружина. Да, он рано повзрослел, годам к четырнадцати уже не был ребёнком, и внешне – мужичок, хмуристый.

После очередной стычки или драки меня вызывал директор школы, Иван Семёнович Недогайло, к слову, добрейший, интеллигентнейший человек. Корил своим тоненьким, вкрадчивым голоском старенького дьячка (да он, поговаривали, и был церковнослужителем до рево-

люции): «Ну, что же, ей-богу, растёт он у вас, Евдокия Павловна, жестокосердным и нелюди-мым? Чуть что – вспыхивает, лютует. Его уже никто не трогает, не обзывает (мы, педагоги, проводим надлежащую работу!), а он, чуть что ему не понравится, набрасывается и набрасывается на детей с кулаками, да и нам, взрослым, дерзит напропалую. Настоятельно рекомендую, осмотритесь и сыну объясните: жить-то стало хорошо, жить-то стало веселее! Скоро, слава богу, в коммунизме окажемся, Евдокия Павловна. И как же вашему сыну с его пещерными наклонностями жить в светлом будущем человечества? Уж, пожалуйста, примите меры, милейшая Евдокия Павловна...» И так – из раза в раз. И говорил убеждённо, очевидно, верил своим словам.

Ну, что, Катенька, я могла ответить этому божьему человеку с его святой верой в светлое будущее, с его вечно сверкающей, как ёлочная игрушка, лысиной? Стояла перед ним, хлопала глазами, поддакивала.

«Смирись, Паша. Смирному и Бог и люди пособляют», – с глазу на глаз увещевала я сына.

Он не отзывался, но я знала: понимает, что значит смириться, стать смиренным. Я никогда с ним не говорила о вере нашей православной, о вероучении отцов Церкви, он, к слову, ни разу не был и в храме и даже, кажется, не доводилось ему видеть священника, в наши дни, сама знаешь, они редки на улицах, тем более в священническом убранстве, но моё *смирись*, уверена, он понимал правильно. Но понимал умом, а не сердцем.

Сердце же Пашино не способно уже было смириться, потому что жизнь своими клещами изранила его, такое ещё детское, неискушённое, да что там! – изувечила, превратила в болючий комок, который мучит и гнетёт каждую секунду. И как зачастую бывает с очень сильными, норовистыми людьми? Они уж лучше совершат какое-нибудь чудовищное безрассудство, а то и примут безвременную смерть, но не встанут на колени – ни перед людьми, ни перед Богом. Думаю, таким и был мой сын, Катенька. Горжусь им, но и – скорблю. Скорблю о его душе, виной гибели которой не он сам. Молиться буду о спасении его души до тех пор, пока дышу. Мне повезло: у меня есть дом – моя катакомба с иконами и келейной тишиной. Здесь и умру с молитвой. Христианкой умру.

Евдокия Павловна помолчала. Екатерина невольно, по какому-то безотчётному желанию повторила про себя: «Христианкой». Необыкновенно ново и необыкновенно загадочно прозвучало в ней это редко звучащее в окружающей жизни слово.

– Хотя и тяжело было душевно сыну, – продолжила Евдокия Павловна, – учился он всё же хорошо. Ходил в отличниках, был прекрасным гимнастом, ворошиловским стрелком, шахматистом разрядником, – знаешь, всюду попевал, был жаден до жизни. Ум-то и силы природные, если они дарованы человеку, никак не утаишь от людей, согласишься. Однако из пионеров Павла исключили, ещё в том, в окаянном 37-м. Позже в комсомол, как он не рвался, сколько заявлений – ох, до чего же он был настырен! – не писал в школьную ячейку и даже в райком комсомола, не приняли. А ему, юному, деятельному, такому, о ком говорят, что семи пядей во лбу он, хотелось участвовать в ребячьих делах, в общей жизни школы и страны, как бы к нему не относились. И если бы, Катенька, его не отталкивали, не обижали, он столько мог бы сделать для людей. И сейчас, когда, наконец-то, мира и блага вволю пришло на нашу землю, сколько он делал бы для всех нас, сколько, роденькая моя, делал бы, – страсть!

После школы поступил в техникум, и до войны успел поработать мастером на заводе и даже стал победителем в соцсоревновании ремонтных участков. Хвалили, грамоту вручили. Сам начальник цеха звонил мне в школу, благодарил за сына. В сорок третьем его могли бы и не призвать: возраст-то хотя и подошёл, да у него была бронь, потому что на оборонном заводе работал. Но он сказал мне: «Отец – не сможет, я за него пойду на войну». Я отговаривала: ведь единственный он у меня остался. Но он добился-таки в военкомате, чтоб призвали.

Война в том году, как старуха, уже привалилась на уклон, захромала, закашляла, и страна почуяла её скорую смерть. Наши колотили врага по всем фронтам, а потому надеялась я: Паша вернётся живым, тем более что его сначала направили на офицерские курсы. Верила: жизнь и судьба его потихоньку выправятся, вольётся он в так желаемые им общие дела, – и его оценят, как надо. Но... но...

Получила похоронку: погиб в бою за какую-то Старогеоргиевку. Скупые были на бумаге слова. Я видывала другие похоронки – писали матерям или жёнам, что, мол, выполняя боевое задание, верный воинской присяге, проявляя стойкость и мужество, погиб, примите искреннее соболезнование и сочувствие. Или так отписывали: проявил героизм и мужество, похоронен с отданием воинских почестей. И неизменно добавляли, сама, наверное, Катя, знаешь, что настоящее уведомление является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Вот так оно, по-человечески-то. А про Пашу – погиб да погиб, никакого сострадания и почтения. Ну да что теперь!..

В сорок седьмом после демобилизации вернулся в Иркутск и зашёл ко мне его однополчанин, однокашник и друг детства Миша Золотоверхов, и узнала я от него вот какую историю. Оказывается, Паша незадолго до своей гибели попал в штрафную роту; а мне в письмах – ни слова. После офицерских курсов направлялись они со своим полком на фронт. Ехали на открытых платформах с пушками, тягачами и всяким снаряжением. Знаешь, Катя, с молодыми людьми, когда они собираются вместе, всякое ведь может случиться. И тут случилось: некий майор, батальонный командир Анисимов, стал приставать к связистке, совсем ещё девчонке. Зажимал её где в сторонке, и всё одного от неё донимался, подлец. Та как могла отбивалась, придушенная, попискивала, а солдаты и младшие офицеры посматривали издали со смешочками да шуточками. Миша признался: между собой, конечно, осуждали майора, да что же скажешь старшему по званию?

Однажды из брезентового шалаша связистки услышали истошный крик: «Уйдите, товарищ майор, оставьте меня! Какой вы негодяй! Выброшусь!» Миша рассказывал: Паша вмиг померк лицом, сжал зубы и кинулся к шалашу. За шиворот выволок наружу майора, рывком взметнул его над собой и – швырнул с платформы. Склонился к лазу в шалаш, но полог не раздвинул, сказал девчонке: «Вас, Валя, больше никто не тронет».

Ясное дело, тотчас подняли тревогу, эшелон остановили, отыскивали майора. Слава богу, оказался жив, угодил в кусты, только сломал ногу, вывихнул руку да морду расцарапало. Пашу взяли под стражу и вскоре судили трибуналом. Направили в штрафное подразделение. О дальнейшей его судьбе Миша не знал, и вот, зашёл ко мне спросить. Сказала: погиб. Покачал головой: «Я так и думал, Евдокия Павловна. Штрафников всегда бросали в пекло, мало кто из них выжил. Паша, если бы остался в полку, мог бы выжить, если бы не этот негодяй майор». Я не стала переубеждать Мишу, мог бы выжить мой сын или нет, если бы в его жизнь не встрял этот майор и связистка, потому что я знала, Катя: мой сын *не* мог поступить иначе... потому что... потому что он *не* смирился. И не мог смириться.

Помолчав, прошелестела губами едва слышно, возможно, только для себя:

– Не мог.

Она замолчала. Её веки опустились, и Екатерине показалось, что на месте глаз образовались провалы – так темна была кожаца. Дышала женщина напряжённо и как-то укороченно: воздух вбирала в себя вполвдоха, словно бы с неохотой. «Да, она не хочет жить», – подумала Екатерина. Она только сейчас заметила, что огонёк в лампадке погас, однако не стало темно. Напротив, посветлело, потому что сквозь щели в ставне по комнате разливался свет утра, свет нового дня.

Надо собираться на работу.

Когда вышла из сеней во двор – невольно зажмурилась: ярко горели снега. Округа разительно переменялась: серая, сырая, унылая вечером и празднично убранная, преображённая

до неузнаваемости сейчас. Буран уже отбушевал, небо было прочищено до звонкой синевы, и хотя солнце ещё лежало за изгородями и домами – было светло и ясно как днём. Земля, щедро застеленная коврами снегов, в своём сверкании, сиянии, лучистости была восхитительно прекрасна. С вечера дождём накидывало, и если бы не снег – быть бы жуткой слякоти, сплошному неуютю. Но, похоже, новое время года – зима одолело-таки нынешнюю затяжную в своей промозглости и хмури осень с неизменно низким, изодранным небом. Надо ждать не сегодня завтра заморозка, а то и настоящего, уже зимнего мороза. «Зима. Мороз. Снеговик. Ёлка. Новый год. Дед Мороз...» – кружатся в голове Екатерины слова и образы, а душа наполняется каким-то свежим и лёгким чувством. Но ей неловко, ей совестно: за стенами этого дома неизбежная печаль и скорбь. Однако изменить свои чувствования девушка не в силах, как конечно же не в силах остановить восход солнца, наступление этого нового дня жизни.

Захваченная своим новым, столь неожиданным состоянием, она не сразу замечает, что возле её ног вьётся, виляя пушистым хвостом, ощериваясь очевидной улыбкой, клочковато-лохматый дворовой пёс Байкалка.

– Наверное, натерпелся за ночь, бедолага ты наш? – обращается к нему Екатерина. Она гладит его, треплет за шерсть, богато наполнившуюся в последние недели подшёрстком, шелковистой мяготью. Сбегала в сени с его миской, половником щедро наклала в неё с вечера приготовленного варева.

– Уплетай, наш доблестный охранник! – поставила перед ним миску. Но ему, очевидно проголодавшемуся, оказывается, не еда нужнее – порезвиться, поласкаться бы.

– Ешь же, ешь, Байкалка! – призывает Екатерина, но пёс подпрыгивает, тянется к ней лапами, тычется в лицо мокрым носом – явным признаком отменного собачьего здоровья и бодрости.

По щиколотку, а то и на весь голень проваливаясь в сугробы, Екатерина пробралась за калитку. Надо спешить на работу, не опоздать бы – волнуется, понимая, что идти по заваленным снегом и размокшим после затяжных осенних дождей немощным глазковским улицам будет непросто. Однако – снова остановилась. Отсюда, с крутояра над Иркутом, обзор неохватно широк, дали беспредельно глубоки. Екатерина очарована: и небо беспредельно, и земля беспредельна. Озирается, как в незнакомом месте, всматривается в белые равнинные просторы.

По деревянному, приземистому мосту через Иркут едут автомобили и гужевые повозки. Неподдалёку, почти что обок – другой мост, железнодорожный; он высок, громаден, ажурен. По нему промчалась передача – паровоз с весёлыми красными ободьями колёс, тянущий за собой четыре вагона. В них, по-видимому, рабочие и инженеры авиазавода и депо Иркутска-Сортировочного, направляются на смену. Только умчалась передача, следом вкатился на мост гулкий длинный состав вагонов; урчливо протрубил, будто пожурил за что-то округу и всё живое в ней, бокастый, со звездой «во лбу» локомотив «Иосиф Сталин». «Все спешат на работу, все трудятся», – удовлетворённо думает Екатерина.

За Иркутом дымит печными трубами деревня Селиваниха, подле неё курится паром петляющая речка Сарафановка. «Проснулся народ», – думает Екатерина и старается взглядом проникнуть дальше, глубже. Угадывается застланное дымкой Монастырское озеро, а невдалеке от него – Иннокентьевская роша и Спасо-Иннокентьевский храм. Екатерине кажется, что слышны колокольные звоны. «Наверное, утренняя закончилась, – подумала. – Люди молились, обращались к Богу». Распознаются развалины Михайло-Архангельского скита, разрушенного после революции. «Там земля намоленная», – вспомнились ей слышанные в детстве слова матери, но о какой-то другой намоленной земле. Но ни храма, ни роши, ни озера, ни тем более развалин скита она не видит явственно или даже вовсе не видит их в этом сплошном снежном водополье, однако почему-то уверена, что и видит, и слышит, и даже что-то такое неуловимое, но желанное осязается всем её существом. Ей хочется смотреть в эти дали, за

которыми ещё и ещё дали, и что-нибудь ещё разглядеть, распознать в них или угадать. «Увидеть бы Москву», – неожиданно и как-то по-детски думается ей. Улыбнулась.

Но тут же вспоминается в тревоге: ой! надо спешить на работу. Да сдвинуться с места не может. Какая-то неведомая сила не пускает её, словно бы что-то ещё надо увидеть и понять. Душа полна сладким, но одновременно подгарчивающим чувством. Кажется, что прежняя жизнь или чувствование, осознание этой жизни и самой себя в ней для неё уже невозможны. Она догадывается, что нынешняя ночь и утро перевернули её душу. Но – какая возможна жизнь? Какая – кто скажет? – возможна жизнь прямо с сегодняшнего дня, с этих минут и потом – на долгие годы? Какие пути в этих пугающе-грандиозных, монотонно-белых далях земли и жизни могут открыться для неё и куда, к кому и для чего в итоге привести?

«Дали, дали... Снега, снега...» – звучит перезвонами и эхами в её душе. И новые, но разнородные и даже противоречивые ощущения беспокоят её, смущают, настораживают. «Божий мир», – вспомнилось, и она понимает, что не могло не вспомниться.

– Божий мир, – шепнула она, словно бы для того, чтобы кто-нибудь услышал её, хотя бы – воздух и снег.

Ещё раз, но уже полным голосом произнесла:

– Божий мир.

Но зачем произнесла, для кого – не понимала. Стояла у калитки перед ещё нетронутой ничьим следом дорогой и приглядывалась и прислушивалась к жизни округи с этими её мостами-тружениками, с этими её безмерными, но затаёнными далями. Догадывалась: ожидала какого-то слова или знака. Но – откуда, от кого, наконец, зачем?

– Божий мир.

Не поняла: вновь сама сказала или – кто-то.

Солнце всегда взойдёт

1. Переезд

Долго, будто судёнышко в шторме, мотало нашу семью по северам, по захолюстьям – стройкам, партиям, приискам. Никогда-то у нас не было своего дома, своей квартиры, своей, как не без скорбной насмешливости говаривала мама, «норки», мы бывали «квартирантами», «жильцами», «завербованными», мы и проживали не всегда вместе, семейством. Но вот, наконец-то, – заводь, о которой так мечтала мама и которая совсем не по сердцу была папке – неисправимому бродяге и непоседе.

Елань хотя и большой посёлок, но по-деревенски тихий, патриархальный, можно сказать. Лишь на берегу пыхтел, скрежетал и чихал, как старый дед, лесозавод. Он неспешно и лениво всасывал в своё металлическое нутро бесконечный караван бокастых брёвен, а те с важностью тянулись вначале по реке Еланке, а потом по бассейну, и выбрасывал из себя золотисто светившиеся доски, развесёлые вихри опилок и кучерявых стружек.

С полгода назад мы прибились к Елани, помыкались в тесном домке у маминого брата дяди Пети и вот сегодня, наконец, перебираемся на новое местечко, в «казённый» – услышал я от взрослых новое для меня слово («казёльный» – не смог выговорить, рассмешив всех нас, мой пятилетний братишка Сашок), – дом, который папке, устроившемуся на завод грузчиком, дали вне очереди, потому что мы – большая семья.

Жаркий, но духовитый – «яблоневоый», сказала мама – ветер июня голубит моё лицо. Навалы стружек, опилок и дроблёной древесины, которыми отсыпают в Елани дороги, приветно похрустывают под колёсами телеги, в неё запряжена изработанная, с плешинами на ребристых боках лошадёнка. Телега высоко наполнена вещами. На самой их макушке, на подушках, сижу я, прижимая к груди кота Наполеона и кошку Марью, и сёстры Лена и Настя с куклами. Лена дерзко показывает вприпрыжку идущим за нами мальчишкам язык, Настя же печальна и задумчива. Внизу, на лежащей на боку тумбочке, сидит мама с хнычущим Сашком. Ему хочется к нам, но мама не позволяет, опасаясь, что он свалится.

– Хочу на поюшку, хочу на поюшку, – мяукает мой братишка малыш.

Я зловредно шепчу ему:

– Рёва-корёва!

Он стонет громче, настырнее. Мама молча взглядывает на меня, сдвигает брови к переносице. Я примолкаю, однако – как же ещё охота позудить брата!

Сестра Люба то и дело отворачивает своё хорошенькое личико от мальчишек подростков, а они просто-таки засматриваются на неё. Она пунцовеет под их затаёнными влюблёнными взорами. Чуть вытягивая носочки, как, наверное, балерина, вышагивает рядом с папкой и бережно и грациозно несёт в руках накрахмаленное платье. Один парнишка так засмотрелся на неё, что бацнулся лбом о столб.

– Крепкий? – спросил у него папка.

– Чиво?

– Столб, спрашиваю, крепкий?

– Не очень, – смущённо нахмурился паренёк. – На моей улице покрепче.

– Тпр-р! – потянул поводья папка.

Лошадь покорливо остановилась около деревянного, брусового, невзрачного, с заколоченными наперекрест окнами дома, – ну, вот: здесь нам и жить-поживать.

– Какое чудо этот дом, – устало-радостно вздохнула мама.

И мы все вместе, не сдвигаясь, даже, кажется, совсем не шевелясь, смотрели на этот казённый, запущенный дом, будто он и вправду какое-то чудо, какая-то невидаль, на самом же деле он был щелясто и кое-как обшит досками, а они – некрашенные, нещадно вычерненные непогодой и солнцем.

– Теперь и у нас есть своя норка, – саркастически усмехнулась мама, расстраивая и наше непродолжительное очарование, и свою хотя и минорную, но отраду.

– Не норка, мама, а дом, пускай даже и казённый, – наставительно поправил я маму, словно бы обижаясь за дом (но в себе, не удержавшись, тем не менее хихикнул: «Какой-то он и точно казёльный!»).

– Конечно, конечно, дом, – чуть покачнула головой мама. Зачем-то прибавила, шепотком: – До-о-ом.

В стайке глазающих на нас ребяташек я увидел миловидную девочку лет, наверное, десяти, она изысканно выделялась своим лилейным шёлковым, будто облачко, платьем; её звали, узнал я немного погодя, Ольгой Синевской. Она пальцами сделала рожки и показала мне язык. Я тотчас ответил ей тем же. И неожиданно – неожиданно и для самого себя, перепугав к тому же маму, – схватил здоровущий чемодан, натужился от невероятной тяжести, однако вовсю силился улыбнуться. Косил глаза на Ольгу: смотрит ли она на меня, такого героя и силача? Войдя во двор за плотное ограждение, беспомощно повалился животом на чемодан и отчаянно выдохнул «у-у-ух!».

Возле телеги, которую папка и я разгружали – а мама и сёстры хлопотали в доме, – крутился и ёрзал какой-то чудной мальчишка. У него густо-тёмное, словно бы шоколадом вымазанное, нездорово-худое лицо. Глазёнки зоркие, бегучие. Одет он ужасно бедно: в прожжённую, не с его плеча куртку, истрёпанные штаны, развалившиеся ботинки. Этот мальчишка, которого дети окликали незнакомым мне словом Арап, то подходил к телеге, то отдалялся, посвистывая. И вдруг я заметил, как он проворно сунул в карман мою оранжевую заводную машинку.

– Папка, – вскрикнул я, – вон тот, чёрный, мою игрушку спёр!

Папка остановился, держа во взбухших руках пухлый тук с бельём.

– А ну-кась поди сюда, братец кролик, – позвал он Арапа.

– Я, чё ли?

– Ты, ты, «чё ли». Давно, голубчик, за тобой наблюдаю...

Однако Арап, указав пальцем за наши спины, вдруг завопил так, точно бы его посадили на раскалённую печку:

– Ай-ай! – И кинулся к телеге, как я понял, чтобы запрятаться: – Береги-и-и-тесь!

Его вопль был жутким; у меня внутри что-то словно бы сорвалось. Я и папка резко – у папки даже хрустнуло где-то, кажется, в позвоночнике и он невольно выронил тук – обернулись назад.

Но ничего ужасающего перед нашими глазами не было. На заборе сидел кот Наполеон и вожделенно поглядывал на воробья, а тот преспокойно чистил пёрышки на бельевой верёвке. Мы взглянули на Арапа, вылезавшего из-под телеги. Детвора хитренько посмеивалась и шушукалась.

– Фу-у! Во я какой молоток! Не заори я – коршун уташил бы тебя, – важно пояснил Арап.

– Коршун?! – враз спросили я и папка.

– Ну да! Он падал точненько на вас обоих. Сейчас посиживает вон на той крыше, во-о-он за той трубой и, паразит, думает, как бы мне отомстить.

– Гх, гх! – В пышных вислых усах папки пошевелилась скупая, хмурая усмешка.

– Вы, дяденька, подумали, что я у вас чего-то стибрил? Так обшарьте! Обшарьте всего! Вот вам вывёртываю карманы. Пусто? Пусто!

Я подбежал к телеге – машинка лежала не в том уголке, куда, помнится, я бережно уложил её. Всё, разумеется, стало ясно. Папка расхохотался и хлопнул Арапа по спине:

– Вообще-то молодец!.. Гх, гх!.. Ну а теперь шуруй-ка отсюда! Да запомни, дружище: поганое дело – воровать.

– Не, не, дяденька, точно ничего не брал. А вы, что спас вашего сына, дайте мне, пожалуйста, закурить.

– Проваливай, проваливай к чертям собачьим, цыганёнок-нахалёнок.

Из переулка вышла, покачиваясь и напевая, не совсем трезвая женщина в несвежем, непроглаженном платье, в стоптанных туфлях. На её яркие привлекательные крупные глаза спадали спутанные воронёно-чёрные волосы, и она их грубым мужским взмахом головы откидывала назад. Женщина была молода, стройна, несомненно хороша собой, но её лицо выглядело измятым, подскомканным.

– Господи! – жёстко прищурилась мама, выглянув из ворот. – До чего же опускаются женщины.

Папка неопределённо усмехнулся.

– У неё, наверное, имеются дети, – нахмурила мама свой столь примечательный высокий белый лоб. – А что из них получится при такой-то родительнице?

Женщина подошла к маме с папкой. Поправляла платье и волосы, очевидно пытаясь выглядеть трезвой.

– Здравсьте, ик! – Её голос с хрипотцой, «заржавелый», подумал я.

– Здравствуйте, – вместе ответили мама и папка.

– Меня, новосёлы, зовут Клава. Живу вот тут. Ваша, ик! соседка.

Она указала на невзрачный, облезлый домик с разломанной дверью и выбитым окном. Рядом с её жилищем перед воротами громоздился мусор, а на месте забора торчали унылые, накренившиеся столбы, доски от которого, как мы после узнали, были использованы зимой на дрова.

Разговор не удался. Папка взялся перетаскивать вещи. Мама хотела уйти в дом, да соседка придержала её за руку.

– Троечку не займёте? Завтра же, вот вам крест, ик! отдам.

– Мы, Клава, так поистратились с переездами всякими... – начала было мама, однако соседка прервала:

– Ну, рублик хотя бы, а? Завтра, вот вам крест, ик! верну.

Мама несколько секунд поколебалась, – выгребла из кармана мелочь. Соседка – обниматься, пылко благодарить и клясться (однако деньги не вернула ни завтра, ни послезавтра – никогда).

– А вот мой сынок, ик! – ласково привлекла она к себе Арапа.

– Опять назююкалась, как свинья, – пробурчал он, норовя высвободиться.

– Ну-у, разворчался мой воронёнок, ик! – Одной рукой она напряжённо держала вырвавшегося Арапа, а другой как бы шаловливо трепала его жёсткие, похожие на собачью шерсть волосы.

Маме было неловко, она не знала, куда смотреть, и, догадываясь я, переживала чувство гадливости.

Арап вдруг со всей силы рванулся из рук матери, толкнул её на поленницу и улизнул в проулок. Женщина вскрикнула и захлюпала носом. Мама – утешать, однако в её словах я не угадывал искренности.

2. Несколько слов о маме и папке

Мама, помню, вставала по утрам очень рано и первой в семье. Половицы поскрипывали, и я иногда просыпался. В полусне сквозь ресницы видел, как мама не спеша одевалась. Поверх какого-нибудь застиранного, старенького платья надевала тёмного окраса халатец. Она получала эти халаты на работе и носила их неизменно, чтобы беречь платья, да и в любом труде удобно было. Себе она покупала крайне мало и незначительное, а – всё нам и нам, своим детям. Одевшись, сперва шла в стайку к поросётам. Через стенку я слышал, медленно засыпая в тёплой, мягкой постели, как они с хрюканьем кидались к ней навстречу, как она журила их:

– Что, что, хулиганьё моё? А но, Васька, паразит, куда лезешь? Сейчас, сейчас дам!..

Выливала в корыто варево, приготовленное вечером, и поросёта аппетитно принимались чавкать. Потом кормила куриц, собак и уходила на работу. Мама, где бы мы не жительствоваали, мыла полы в конторах и магазинах. Вечерами крутилась по дому: стирала, полола, чистила, шила, скребла, варила – работы хватало, перехлёстывало через край. «И охота ей заниматься всем этим! Играла бы, как мы», – совершенно серьёзно думал я.

Я рос болезненным. Мама нас, пятерых детей, зачастую врачевала сама; в редких случаях приходилось обращаться в больницу. Натирала меня какими-нибудь пахучими травными жидкостями и мазями. Мне бывало всегда приятно от лёгких прикосновений её загорелых тёплых рук.

– Мам, только бока не надо – щекотно, – улыбаясь, просил я.

– Вот бока-то, Серёжа, как раз и надо бы, – говорила она своим тихим, спокойным голосом и начинала усерднее тереть бока.

И я догадывался: она поступала так не только потому, чтобы втереть лекарство, а – чтобы ещё и пощекотать меня, однако притворялась, что получается само собой. Брат Сашок неожиданно заявлял маме, что тоже заболел, и просил потереть и ему бока. Она щекотала и Сашка, обцеловывала его маленькое раздумившееся лицо. По комнате рассыпался тонкий голосок смеющегося брата, и пищал он по-девчоночьи звонко.

Натирала меня всего, укрывала ватным, сшитым из лоскутков одеялом, которое мне так нравилось своей разнопёростью; поверх накрывала серым шерстяным и тщательно подтыкала его со всех сторон. И сразу же бралась за какое-нибудь дело. Но мне хотелось с ней ещё поиграть. И я, вытягивая свою гусиную шею из-под одеяла, с некоторой ревностью в душе смотрел на брата, который крутился возле мамы, мешая ей работать, и просил «ичо пощекотать». Она отпугивала его. Он, вспискнув, отбегал или залезал под стол и смеялся; а потом, хитрец, на цыпочках подкрадывался к маме.

Помню, однажды погостив три месяца с сестрой Настей – она была младше меня на два года, а мне тогда минуло пять, – в деревне, мы приехали домой и увидели в маленькой кровати, в которой я и сёстры тоже когда-то спали, страшненького, красноватого ребёнка. Мама сказала, что он наш брат Сашок.

Я спросил её, где она его взяла. Сестра Люба засмеялась. Настя же поделила моё любопытство: с интересом и жалостью смотрела на этого диковинного, сосущего соску человечка. Мама чуть улыбнулась и, потрепав меня за щёку, сказала, что выловила его в Байкале, что он был нерпёнком, отбился от стаи, подплыл к берегу и стал плакать. Попав в её руки, он сразу же превратился в человека.

– Где же ты нашла меня? – спросил я.

– Где я нашла тебя? – переспросила мама и выразительно взглянула на папку; а тот, усмехаясь, покручивал свой жёсткий ус и курил возле открытой форточки. – Как-то раз ночью вышла я на улицу и вижу – несутся по тундре олени, много-много их было, ну, просто тьма. Умчались они, и только я стала заходить в дом, как вдруг услышала – кто-то плачет. Подошла,

вижу – лежит на снегу махонький оленёнок. Сжа-а-а-ался весь. Взяла его на руки. В доме он отогрелся и сразу же превратился в мальчика. Это и был ты.

– Как! – воскликнул я, когда мама закончила рассказ и как ни в чём не бывало занялась этим человечком. – Как! Я был оленем?!

Я так разволновался, что у меня набежали слёзы, а рот не закрывался, когда я замолчал. Я забежал вперёд мамы и прямо посмотрел в её похудевшее за последнее время лицо, желая только одного, чтобы глаза или она сама сказали мне: верь! Если бы она тогда сказала, что её рассказ – неправда, я, наверное, не захотел бы ей поверить.

– Я был оленем! Как вы могли об этом молчать?! – возмутился я, совершенно не понимая, почему взрослые не разделяют мой восторг.

Ночью я долго не мог уснуть. Прижимал к себе кошку Марысю и шептал ей, чмокая в ухо и в нос:

– Марыся, я был оленем. Вот так-то! А кем ты была? Лисичкой? Признавайся!

Марыся что-то урчала и облизывалась: недавно она съела кусок пирога, дерзко стянув его со стола. Мама прогнала Марысю на улицу, а вдогонку прикрикнула, чтобы она, негодница, больше не заявлялась домой. Я же тайком пронёс кошку в комнату и уложил в свою постель на подушку.

В зале над фанерным стареньким комодом висел большой фотографический портрет, и я в детстве никак не мог поверить, что изображённая на нём красивая, с глубоким взглядом блестящих глаз и перекинутой через плечо толстой косой девушка – моя мама в молодости. К сорока годам от её былой красоты мало что удержалось. Вот только родинка на подбородке оставалась всё той же – великолепно большой, запечённо золотистой. Я забирался, бывало, к маме на колени, целовал её в родинку и спрашивал, как это она у неё появилась, такая красивая, «как жемчужинка». Она говорила, что крупные родинки бывают у счастливых людей. Но как-то сразу задумывалась вся, грустнела. Я же трогал «жемчужинку» и приставал с разговорами.

Иногда мама играла на гитаре и пела. Как её преображали пение и улыбка! Пела очень-очень тихо, как бы самой себе. И песня, можно было подумать, становилась рассказом о её жизни. Я сидел в сторонке от взрослой компании и всматривался в мамино лицо. И мне начинало казаться, что мама буквально-таки на глазах молодеет и хорошеет, превращаясь в ту маму, которая навечно осталась красивой и молодой на портрете. Когда она пела «Гори, гори, моя звезда», её голос с середины романса вдруг переменялся до тончайшего фальцета, и она никак не могла унять слёзы. Я прижимался к маме, не замечая, что мешаю ей играть.

– «Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою горисий, моя звезда!» – повторяла она подрагивающим голосом последние две строчки и замолкала, наклонив голову.

* * *

Когда папка работал, его тяжёлые серые шишкастые руки находились на некотором расстоянии от боков, а плечи были приподняты, подъяты, будто хотел он показать, что невероятный силач, геркулес, что ли. Но в нём, уверен, не было стремления к позёрству, и не хотел он изречь: «Эй, кто там на меня? Подходи!» Папка был в такие минуты жизни так же естественен, как естественны, непринуждённо борцы друг перед другом в круге, или штангист, который вышел на помост для взятия веса.

Меня зачастую изводило, почему я такой худой – «точно щепка», говорила мама, – всегда бледный и болезненный, и стану ли когда-нибудь таким же сильным, ловким, умным, красивым и всё, всё умеющим, как папка.

Большие куски его жизни – скитания, таёжье, тундра и Бог весть что ещё и зачем. Заражённый, видимо, непреодолимой тягой к простору и воле, он никак не мог втиснуться в стёжку

семейной жизни. Даже когда мы обретались на Севере, он то и дело отъезжал в какое-нибудь захолустье «на заработки» – как объяснял. Возвращался нередко весь оборванный, в коростах, пропахший дымом и, главное, без гроша денег. А семья-то росла, и маме одной год от году становилось тяжче и тяжче. И папке вроде бы совестно было перед ней и нами, и даже иной раз он ударял себя кулаком в грудь:

– Шабаш! Больше – никуда!

Да неугомонный, диковинный папкин дух перебарывал его, и он снова, снова ехал, мчался незнамо куда и зачем.

Мы, дети, почему-то не осуждали папку, хотя и немало из-за его чудаковатостей перенесли лишений. Может, потому, что был он без той мужицкой хмури в характере, которая способна отталкивать ребёнка от родителя, настораживать?

Когда папка возвращался из своих «денежных северов», как иронично говорила мама, я кидался к нему на шею. Он меня крепко обхватывал ручищами. Я прижимался щекой к чёрному колючему подбородку, тёрся, невольно морщась от густых запахов, и первым долгом спрашивал у папки, есть ли у него для меня подарок. В те годы деньгами он семью редко баловал, но вот игрушки и безделушки всегда привозил, бывало, целый рюкзак или даже два. Мы, дети, восторгались. А мама, получив от него «дурацкий подарочек» и узнав, что денег он опять не привёз или крайне мало, крутила возле папкиного виска пальцем.

– Да что деньги? Как навоз: сегодня нет, завтра воз. Без них, мать, жить куда лучше.

Папка, конечно, понимал всю нелепость своих слов и притворялся, будто не замечает мамино недовольства и раздражения. Улыбался и норовил обнять её. Но она решительно отстранялась.

– Да, лучше, товарищ Одиссей Иванович! И как я раньше не додумала? – заявляла мама с таким выражением на лице, словно услышала от папки что-то такое весьма умное. Устало вздыхала: – Ох, и навязался ты на мою шею, ирод чёртовый.

Я дёргал папку за рукав прожжённого, сыроватого пиджака, наступал носками на его сапоги и просил пошевелить ушами. Он, уже через силу улыбаясь и слегка косясь на ворчавшую маму, которая с каким-то неестественным усердием хлопотала по хозяйству, шевелил загорелыми, коричневатыми ушами. Я, брат и младшие сёстры потом вертелись возле зеркала и пытались пошевелить своими.

3. Маленькая ссора

Где-то, наверное, через неделю-другую после нашего переезда в Елань я сидел у открытого настежь окна и смотрел на маму и папку, молчком работавших во дворе. Папка рубил дрова, мама невдалеке стирала в тазу; она долго и вяло шоркала одно и то же место выцветшей папкиной рубашки. Мамины брови туго были сдвинуты к переносице, бескровные губы были накрепко сжаты, – она, чуял я, до взрыва сердита. Я вчера случайно увидел, как папка, хмельно покачиваясь, крадучись огородами уходил от нашей соседки тёти Клары; из её дома слышались развесёлые возгласы. Но маме папка сказал, что выпил на работе с товарищами. Нехорошие чувства зашевелились в моём сердце; было обидно за маму.

На листе бумаги я нарисовал семь овалов. Первый самый большой, следующие меньше и меньше. К первому подрисовал голову, усы, руки, топор, ноги, а возле них – собаку с толстым хвостом, – это папка с Байкалом. Мусоля карандаш и морщась от великого усердия, нарисовал маму, следом – сестёр и брата. Подписал: Папка, Мама, Люба, Лена, Серёжа, Настя, Сашок. «Вот вся она наша семья!» – был горд своим творением я.

– Мам, смотри, как я нарисовал. Вот ты! – Я улыбался, ожидая похвалу.

– Опять у тебя нос грязный. А почему на коленке дыра? – Она сырой тряпкой машисто вытерла мой нос. Мне было больно. Я едва не заревел.

– Смотри, ты с Байкалом, – невольно непочтительным голосом сказал я папке.

– А, ну-ну, добро, добро. Похож, – мельком, небрежно взглянув на рисунок, вроде как зевнул он. Размахнувшись топором, выдохнул: – Уйди-ка!

Мои глаза щипнули слёзы. Я крутил, крутил – и открутил-таки! – пуговицу на рубашке. «Они поругались, а я как виноватый. Вот было бы мне не восемь лет, а восемнадцать, я им ответил бы!» И мою душу переполнило настолько неодолимой обидой, что я грубо оттолкнул от себя кота Наполеона, который начал было тереться о мою ногу. Наполеон посмотрел на меня взглядом, который ясно изъяслял: «И как же, молодой человек, понимать вас прикажете? Я всю жизнь честно служу вашей семье, ловлю мышей, а вы эдак меня благодарите? Ну, спасибочки!»

Я взял нашего бедного старого кота на руки и погладил, и он замурлыкал, жмуря слезящиеся, подслеповатые глаза.

Я вошёл в дом. На кровати сидел брат и играл со щенком Пушистиком – натягивал на его голову папкину рукавицу. Чёрный с белым хвостом щенок отчаянно и радостно сопротивлялся. Меня не смешила, как обычно, проказа брата, я с минуту сумрачно, словно он виновник моей обиды, смотрел на Сашка. Залез под свою кровать: я так частенько поступал, когда хотелось поплакать. «Я им не нужен. Они меня не любят. Пусть! И я их не буду любить. Уеду от них навсегда! – неожиданно решил я. – Вот только куда бы? Может, в Америку или в Африку? Но где взять денег на электричку? Лучше поближе. Пешком. Возьму с собой Ольгу Синевскую. Она будет мне мясо жарить, а я – охотиться на медведей. Ух, житуха начнётся у нас: игры день и ночь да будем, когда захотим, варить петушков из сахара!...»

В дверном проёме я хорошо видел весь наш двор. К маме, улыбочиво супясь, приблизился папка. Тихонько кашлянул, конечно, для неё. Но по строгому, просто-таки ледяному выражению мамино лица можно было подумать, что важнее стирки для неё на всём белом свете ничего нет.

Интересен и смешноват в эту минуту был для меня папка: я знал его как человека несколько величавого в своей непомерной богатырской силе, уверенного в себе беспредельно, теперь же он походил на боязливого, запуганного родителями ученика, раболепно стоящего перед учителем, который раздумывает – поставить ему двойку или авансом тройку.

– Аня, – позвал он маму.

– Ну? – не сразу, глухо после долгого молчания и рублено отозвалась она, не прекращая стирать.

– Квас, Аня, куда поставила? – Папка почему-то не отваживался сказать о главном.

– Туда, – ответила она, сердито шевельнув бровями, и мотнула головой на сени.

Папка напился квасу и, проходя назад к дровам, дотронулся рукой до плеча мамы, но так, как прикасаются к горячему, определяя, насколько горячо.

– Ань...

– Уйди!

– Что ты, ей-богу? Выпил с мужиками. Аванс – как не отметить? Посидели да – по домам. Что теперь, врагами будем? – Папка дрожками пальцами пощипывал свою черноватую с волоском бородавку над бровью.

– Ты посидел, а двадцати рублей нету. И сколько раз уже так? А Любче, скажи, в чём зиму ходить? Серьге нужны ботинки. У Лены школьной формы нету, да всего и не перечислишь. А он посидел... седок! – с язвительностью воскликнула мама.

– Ладно тебе! Руки-ноги есть – заработаю. До сентября и зимы ещё ой-еёй сколько. – Папка опять дотронулся до её плеча.

– Отстань, ирод.

– Будет тебе.

– Дрова руби... седок-наездник.

Папка досадливо отмахнул рукой, резво пошёл было, однако в некоторой нерешительности остановился. Вдруг подскочил к маме, обхватил её за колени и – взмахнул вверх. Мама: «Ох!», а он, как сказочный богатырь, громоподобно захохотал.

– Да ты что, змей?! А но, отпусти, кому говорю?

– Не отпусью, – игриво коверкает он язык, видимо, полагая, что несерьёзным поведением можно умерить мамину суровость.

– Кому сказано? – вырывалась она.

– Не-ка.

Помолчали. Маме стало неловко и, похоже, стыдно, она вспыхнула, когда выглянули на шум соседи.

– Отпусти, – уже тихо и как-то по-особенному кротко произнесла она, и папке, без сомнения, стало ясно, что примирение вот-вот наступит.

Он поставил её на землю и попытался обнять. Мама притворялась, будто бы ей неприятно и отталкивала его.

– Иди, иди: вон рубить-то ещё сколько, – пыталась говорить она строго и повелительно, однако улыбка расцветала на её лице.

Люба и Лена, убравшие во дворе мусор, загадочно-игриво улыбнулись друг другу. Мама и папка вошли в дом. Я замер.

– А где у нас Серёга? – громко спросил папка.

– Да под кроватью, Саша, точно бы не знаешь его повадку, – шёпотом сказала мама, но я расслышал. Сердце моё приятно сжалось в предчувствии весёлой игры с папкой; он любил пошалить с детьми.

– Знаю, – махнув рукой, шёпотом же ответил он. – Это я так. Дуется на нас. Сейчас развеселю. – И громогласно, трубно, для меня, сказал: – Куда же, мать, он спрятался? – Стал притворно искать.

Я вознамерился перехитрить его. Шустренько прополз под кроватью и затаился за шторкой; смирив дыхание, зажимал рот ладонью, чтобы не засмеяться.

– Наверно, Аня, под кроватью? Как думаешь?

– Не знаю, – притворялась и мама. – Ищи... сыщик-разыщик.

Не выдержав, я выглянул из-за шторы – и моё лицо как пылем обожгло: на меня в упор смотрела мама. Она, видимо, заметила мои перемещения. Я приставил палец к губам – молчи! «Конечно, конечно! – ясно вспыхнуло в её расширившихся глазах. – Разве мама способна предать сыночка?»

Не обнаружив меня под кроватью, папка озадаченно покрутил усы, даже подёргал их, как бы будя себя.

– Гм! Не иначе, на улицу вышмыгнул, чертёнок, – решил он.

– А я вот он! А я вот он! Бе-е-е!..

«И я хотел их не любить, – думал я, когда папка подхватил меня на руки и стал кружить. – Папка такой хороший, а мама ещё лучше!..»

И мне снова всё-всё в этом летнем, солнечном, дневном мире представлялось весёлым, добрым, распахнутым, созданным для меня и моих близких. Мама представлялась самой доброй, нежной, а папка – самым весёлым, сильным. И нынешняя моя обида, и прошлые – просто-напросто недоразумения; они как тучки, которые непременно улетают, и вновь жизнь становится прежней, прекрасной. Мне казалось, что доброта и веселье пришли к нам навечно, что никаким бедам больше не бывать в нашем уютном доме, в нашей большой семье.

4. Рыбалка

Папка был страстным рыбаком. Помню, каждую пятницу, под вечер, он копал червей и ловил кузнечиков. В субботу, рано-рано утром, когда в воздухе ещё шуршал чуть знобящий летний холодок, а небо смотрело на нас томно-фиолетово, как мудрец, и сонновато помаргивали в нём тускнеющие звездочки, я и он уходили на рыбалку, да к тому же зачастую с ночёвкой.

Бывал я в разных краях, видывал немало замечательного в природе и нередко говорил или думал: «Какая, однако, красота!» А возвращаясь всякий раз к Ангаре, к её обрывистым сопкам, зелёным, покойным снежным водам, к её опушенным кустарником и ивами берегам и старчески ворчливому мелководью, я обнаруживал в себе, что об этих родных местах не могу говорить высоким слогом, не тянет меня восклицать, а могу лишь смотреть на всю эту скромную прелесть, сидя в один из редких свободных вечеров на полусгнившем бревне возле самой воды, молчать, думать и грустить. Хорошо, скажу я вам, груститесь в родимых, знакомых с детства местах после долгой разлуки с ними!

Итак, рыбалка моего детства.

Мама с папкой ссорились из-за его увлечения рыбалкой.

Сегодня мы, как обычно, спозаранку уже пошли было, но мама, вернувшись от поросят, начала с папкой всё тот же разговор о его «дурацких» рыбалках. Сердито гремела вёдрами и чугунками.

– А-а-ня! – умоляюще отвечал на её нападки папка. Когда детей бранят, они лезут пальцем к себе в рот, в ухо или в нос, а папка, когда его честила мама, пощипывал ус. – Аня, для души-то тоже надо когда-то пожить. Бросай всё, пойдём порыбачим, а?

– Пoryбачим! – вскидывалась вся мама и с внезапным ожесточением зачем-то сильно затягивала поясok на своём выцветшем халате. – А в огороде кто порыбачит? Всё заросло травой. А крышу сарая когда, дружок ситцевый, порыбачишь? Протекает уже. А детям обувку когда порыбачишь, рыбак-казак? – и с грохотом поставила пустое ведро. Мы даже вздрогнули. – Для души хочешь пожить? Да ты единственно для неё и живёшь, а я вечно как белка в колесе кручусь.

– Аня, гх... не ругайся.

Папка положил на завалинку удочки и мешок с закидушками и снедь, присел на лавку и засмолил папироской в раздумье. Я с мольбой в душе смотрел на него и с невольной досадой на маму и ждал одного решения – пойдём-таки рыbachить!

Папка покурил. Встал. Помялся на месте в своих огромных болотниках, в которых он чудился мне сказочным Котом в сапогах. Взял мешок, удочки. Покусывая оцарапанную рыболовным крючком нижнюю губу, взглянул на маму так, как смотрят на взрослых дети, когда, своевольничая, хотят выйти из угла, в который поставлены в наказание.

Мама была занята растопкой печки и притворялась, будто до нас ей дела уже нет.

– Ну, пойдём, Серьга, порыбачим... маненько... а завтра крышу... кх!.. починим, – обратился папка ко мне, но я понял, что сказал он для мамы.

Она вздохнула и укоризненно покачала головой, однако промолчала. Папка шёл к воротам, ссутулившись и стараясь не шуметь, словно тишком удирал от мамы. «Я понимаю, – быть может, хотел бы сказать он, – что поступаю скверно. Да что же я могу поделаться с собой?»

Я обернулся. Мама, прищутив глаз, светло усмехалась.

Выйдя за ворота, папка сразу же выпрямился, словно сбросил с плеч груз, по его усу потекла медовая улыбка. Он пнул пустую коробку, вспугнув почивавшую в траве бродячую собаку.

– Галопом, Серьга! – приказывает он, подтолкнув меня в спину.

На берегу я скоренько разматываю леску на двух своих удочках, наживляю червей. Минута какая-то – и я уже рыбачу, широко расставив обутые в красные сапоги ноги и хмурая брови, как бы показывая, что занимаюсь до чрезвычайности серьёзным, взрослым делом. Однако, от поплавок я постоянно отвлекаюсь: глазею то на облака, то на беззаботных малявок в золотистой воде прибрежной мели, то на воробьёв и трясогузок, что-то клюющих в кустарнике.

Папка же прежде всего сядет, покурит, пуская колечками сизоватый дымок. Посмотрит некоторое время на речку и небо, пальцем поскребёт в загорелом затылке.

Мои пробковые поплавки лениво покачиваются на едва различимых волнах. От досады, переходящей порой в раздражение и почти что обиду на «противных» рыб, которые никак-то не хотят клевать, я часто вытягиваю леску. И, к моему великому удивлению, крючки всегда обглоданы. Покусываю ногти, забываю по-взрослому угрюмиться, впиваюсь взглядом в поплавки, словно гипнотизирую их. Но неожиданно перед моими глазами вспыхнула бабочка. Она очень красивая: исчерна-синяя, с кокетливыми красненькими пятнышками, и вся так и переливается, сверкает на солнце. Присела на ветку вербы и, казалось, стала наблюдать за мной. Я загорелся желанием поймать её. Подкрался на цыпочках и протянул к ней руку. Бабочка, как бы поигрывая со мной, переметнулась на цветок и сложила крылья: на меня! Я, едва дыша, подошёл к ней.

А папка вдруг как гаркнет:

– У тебя клюёт!

Я ринулся к удочке и рванул её вверх. Леска натянулась, тонко проголосила, и из воды вылетел радужно-зеленоватый, краснопёрый окунище. Я потянулся за ним. Сейчас схвачу. Счастье-то какое! Аж сдавило дыхание. Руки дрожали, а рот раскрылся, будто бы я хотел заглотить окуня.

Но внезапно стряслось ужасное – окунь плюхнулся в воду. Я, вместо того чтобы кинуться за рыбой, зачем-то крикнул:

– Папка! – словно призывал его выхватить из воды окуня.

И в этот миг, можно сказать, судьба окуня и моя решилась: в первые мгновения он позамешкался, потом резко и звонко встрепенулся, над водой пламенем вспыхнул его великолепный красный хвост, – таким образом, видимо, он попрощался со мной. И – сиганул в родную стихию. Я ещё лицезрю его спину, и вдруг, сам не пойму, как у меня получилось, падаю с растопыренными руками на уходящую в глубину добычу. Вода у берега была по локоть. Но я поехал на ладонях по осклизлому бревну-утопленнику, не в силах остановиться. Хлебнул воды и отчаянно булькнул:

– Па-а-апка!

Я отчаянно вертелся и дёргался. Руки соскользнули с бревна, глубина хватко вцепилась в меня и властно потянула к себе. Я окунулся с головой, хлебнул воды и стал тонуть. Подбежал папка, решительно по пояс забрёл в воду и схватил меня за плечо.

На берегу он расхохотался. Я же плакал об упущенном окуне, даже ревел и, заочневший, барабанил зубами.

– Эх ты, рыбак! Разводи костёр, будем сушиться... раззява-козява!

Вечером, при ещё блистающем зарёю небе, папка прилёт на траву почитать. Когда он читал, то становился каким-то неподражаемо важным: как у жука шевелились его усы, если он трубочкой вытягивал губы, словно бы намереваясь свистнуть, постукивал своими толстыми желтоватыми, точно когти крупного животного, ногтями, энергично и жутко двигал бровями. Иногда вскакивал и бродил взад-вперёд.

Рдяное солнце выдохнуло последние лучи и схоронилось за лесом. По земле покрался сумрак. Снежно-белые облака застыли над потемневшими сопками и холмами, будто выбрали себе уголок для ночлега и вот-вот опадут, как снег, на землю. Густые индиговые тенёты хозяйски возлегли на ангарскую воду и, мне казалось, замедлили, если вовсе не застопорили, тече-

ние этой великой реки. Сосны, представилось, насупились, а берёзы как бы сжались. Всё живое и неживое ждало ночи. Я, раскинувшись на фуфайке, прислушивался к звукам: «Кр-й-ак... Цвирьк... З-з-з-з-з... Ку-ку... Ка-ар-р!.. Пьи-пьи...»

Под это нежное тоненькое «пьи» мне представляется, что какую-то прекрасную сказочную птицу ведьма посадила в клетку и мучает жаждой. Я воображаю, как пробираюсь сквозь колючие дебри и несу в кружке воду. На меня, спрыгнув с лохматой ели, на суку которой висела клетка с маленькой птицей, набросилась похожая на корягу ведьма с чудовищными зелёными глазищами. Вдруг в моих руках появился, ослепительно заблестав, меч. Я сразил ведьму, но обе её половины обратились в двух ведьм. Я разрубаю и их. Однако на меня уже насккивает четыре ведьмы. Я размахиваю, размахиваю мечом, но нечистой силы становится больше и больше. Ведьмы лязгают зубами. Я устал. Скоро упаду. Упал. Ведьмы тьмой надвигаются на меня. Неожиданно возле моей головы вырос крупный одуванчик.

– Сорви меня, – промолвил он, – и сдуй на ведьм.

Я сорвал, дунул и – округа стала лазоревой и словно бы пушистой. Ведьмы подкошенно повалились и обратились в скелеты; а скелеты сразу покрылись пышными цветами. Я снял с ели клетку и открыл её. Птица вылетела и – превратилась в маленькую, одетую в великолепное кружевное платье девочку.

– Спасибо, Серёжа! Я – фея. Ведьма похитила меня у моих родителей, превратила в птицу и посадила в волшебную клетку за то, что я всем делала добро. Я маленькая, и моё волшебство слабее ведьмино. Я не могла с ней сама справиться, но своим волшебством помогла тебе. В благодарность – дарю тебе флейту! Когда что-нибудь захочешь, подуй в неё, и я прибуду и исполню любое, но только благородное, твоё желание. А теперь – прощай!

Лес со скрежетом расступился, и к моей фее подплыло облако-карета. Она помахала мне рукой и растаяла в лазурном сиянии.

Подмигивали мне, как своему знакомому или просто по доброте, звёзды. Я испытывал смутную тревогу и робость перед величием чёрного, сверкающего неба. Возле моих ног потрескивал костёр. Изжелта-оранжевые бороды пламени танцевали по изломам коряги. Дым иногда кидался в мою сторону, и я торопливо шептал:

– Дым, я масла не ем, дым, я масла не ем... – И отмахивался. Но он всё равно приставал, как бы желая досадить мне или не веря, что я масла не ем. На раскалённых рдяных углях я пёк картошку.

Папка, начитавшись и поставив закидушки и удочки, спал, с молодецким храпом и при-свистом. Засыпал он, помню, моментально: стоило ему прилечь – и уже давай пускать мелодичные ноты. А мне вот не везёт и не везло со сном.

Возле берега шумно и дразняще всплывала рыба, – моё сердце вздрагивало, и хотелось пойти к удочкам и закидушкам, но боязно было уходить в темень от костра и папки. С реки обдавало прохладой. Где-то тревожно заржала лошадь. Ей ответила только лишь ворона, хрипло и сонливо, – видимо, выразила неудовольствие, что её посмели разбудить. Я пугливо кутался в ватную фуфайку и подглядывал через щёлку, которую потихоньку расширял. В воздухе плавал тёплый, но бодрящий запах луговых цветов, слегка горчил он смолистой корой и полынью. Но когда ветер менял направление, всецело господствовал в мире один, пахучий, наполненный тайнами вязких, дремучих глубин запах – запах камышовых, цветущих озёр.

На той стороне Ангары, на самом дне ночи, трепетал костёр. Я вообразил, что там разбойники делят награбленное. Рядом хрустнуло – я весь сжался в комочек. Мне почудился вороватый шорох. В волосах шевельнулся страх. Неподдалеку вонзилось в ночь громозвучное карканье. Я, наверное, позеленел. Дрожащей рукой слепо искал папку, наткнулся на его шевелящиеся губы и сыроватую лохматинку усов. Он что-то проурчал и повернулся на другой бок.

– Папка, – чуть дыша и пригибаясь, шепнул я.

– Мэ-э? – не совсем проснулся он.

– М-мне с-страшно.

– Ложись возле меня и спи-и... а-а-а! – широко и с хрустом зевнул он.

Папка снова стал храпеть. Я крепко прижался к его твёрдой спине и старался думать о чём-нибудь приятном.

Проснулся, потому что жутко знобило моё скрюченное тело. Лежал один возле потухшего костра; папки не было рядом. Пахло сыроватой золой и землёй. Округа была напоена до краёв росной, морозцеватой свежестью. На Ангару наседали туманная мгла. Солнце ещё не взошло, а мне так захотелось его лучей и тепла! Отчего-то подумал и испугался: а вдруг солнце не взойдёт, не прoderётся через туман. На середине реки, на затопленном острове, стояли – очевидно умирая – согнувшиеся берёзы, и мне стало жалко их. Но я не в силах был долго оставаться с каким-либо грустным чувством, в своём несчастном зябком состоянии. Где-то на озёрах вскрикнули – показалось мне, что призывно и приветно, – утки, и я пошёл на их голоса. Узкую скользкую тропку прятали разлапистыми листьями обсеянные росой папоротники и тонкие, но упругие ветки густо заселившего лес багульника. Косматая трава хватала мои мокрые сапоги, как бы не пускала меня и охраняла какую-то тайну, которая находилась впереди.

Озёр было много; они скрывались за пригорками. Сначала я брёл по болотной грязи, из неё торчали патлатые, заросшие дикотравом кочки. Потом ступил в воду. Она боязливо вздрогнула от моего первого шага и побежала воздушными волнами к уже раскрывшимся лилиям, – быть может, предупреждая их об опасности. Мне хотелось потрогать их, понюхать, да они находились, где глубоко.

Недалеке тихонько вскрикнула утка. Я притаился за камышами. Из-за низко склонившейся над водой вербы выплыла с важностью, но и с явной настороженностью исчерна-серая с полукружьем рябоватых перьев на груди утка, а за ней – гурьба жёлтых, канареечных, даже золотистых утят-пуховичков.

Из камышей величаво выплыла ещё одна утка. Она была чернее первой и крупнее. Её голова – впрочем, такой же она была и у первой – имела грушевидную форму, и создавалось впечатление надутых щёк, словно она сердитая, важная чрезмерно. Почти на самом её затылке топорщился редкий хохолок, а блестяще-чёрная маковка походила на проплешину. Меня смущил в утках широкий лыжевидный клюв, который у второй к тому же был задиристо приподнят. Вид этой утки ясно заявлял: «Я не утка, я – орёл». «Наверно, – подумал я с согревающей меня нежностью, – утка – папка этих утят, а их мама – его жена. Он поплыл добывать корм, а она их охраняет и прогуливает».

Утка-«папка» выплыла на середину озера и – внезапно исчезла, как испарилась. Я протёр глаза. Точно, её нет. Но немного погодя понял, что она нырнула; не появлялась с минуту. Я стал беспокоиться – не утонула ли. Но утка, уже в другом месте, как поплавок, выпрыгнула из воды, побудив волны и держа что-то в клюве.

Я порылся в карманах, нашёл хлеб, две конфеты, хотел было кинуть уткам, как вдруг воздух шибануло страшным грохотом, будто саданули по пустой железной бочке. Я вздрогнул, сжался и зажмурился. Замершее сердце ударило в грудь. Открыл глаза – хлесталась крыльями о воду, вспенивая её, утка-«папка», пытаюсь взлететь. И, видимо, взлетела бы, но прокатился громом ещё один выстрел, – теперь я уже понял, что стреляли из ружья. Утка покорно распростёрлась на хлопьях кровавой пены. Утята куда-то сразу спрятались.

Из кустов вылетела крупная встрёпанная псина, с брызгами погрузилась в воду, жадно и шумно ринулась к убитой утке. На поляну вышел сутулый, дюжий дядька, деловито сплюнул, почесал шею, неторопливо закурил.

Назад я брёл медленно, запинаясь, потупив голову. Потом этот дядька пришёл к папке, к нашему костру, на котором закипал котелок с ухой; оказалось, они вместе работали. Сидели на берегу, хлебали уху, выпивали, энергично, громко разговаривая, что-то друг другу доказывая.

Я не слушал их, жался сторонкой на камне у самой воды. Я не мог понять, как папка может сидеть вместе с человеком, который убил утку. Подумалось, что мой отец тоже такой же нехороший, скверный человек, но я устрасился этой мысли.

В моё лицо взбрызнуло лучистыми проблесками наконец-то взошедшее солнце. Я крепко зажмурился и тотчас почувствовал на губах солоноватую, чуть горчащую тёплую водицу. Солнце, кажется, впервые, не порадовало меня.

5. День рождения

Пятого июля мне исполнилось девять лет. Мама и сёстры накрывали на стол, а я встречал гостей. Губы, как не сдерживался и не хмурился я, у меня кисельно расплзались улыбкой и щёки изменчески вспыхивали, когда очередной гость вручал мне подарок; я их аккуратно складывал на свою кровать. Чего только не было в этой пёстрой великолепной куче! – и кожаный мяч, и заштопанная боксёрская перчатка, и пневматический пистолет, и рыболовные крючки с поплавком, и книжки, и рисунки, и набор разноцветных камней, и ещё что-то было чудесное и не очень, всего конечно же не упомянуть. Но самый дорогой для меня подарок лежал в кармане тёмно-синего, под матроску пиджака, который мне подарили родители, – носовой платок, пахнувший духами, с вышитыми жаркками и надписью: «Серёже в день рождения. Оля». Все гости были нарядные и красивые, но, несомненно, отличалась моя подружка Ольга Синевская, и единственно на ней я задерживал глаза, и единственно для неё шутил, к примеру, присосал к губе колпачок от авторучки и показался Ольге. Она рассыпчато засмеялась и состроила мне рожицу.

Ольга красовалась в самом, на мой взгляд, прекрасном на свете золотистом шёлковом платье с кисточками на пояске. На её завитой головке бабочками примостились и, мерещилось, вот-вот взлетят пышные белоснежные банты.

Я всё поправлял свой замечательный пиджачок, который, впрочем, и без того недурно сидел на мне, стряхивал с него пылинки и озирался, особенно часто смотрел на свою подружку: понимают ли они все, какой я сегодня красивый и необыкновенный в новеньком с иголки пиджаке под матроску?

Мама, наконец, пригласила нас, уже истомившихся возле пирожных, напитков и конфет, к столу. А какая и она сегодня необыкновенная! На ней нет халата, а приталенное платье хотя и ситцевое, но в богатой россыпи цветочков, и вся она такая помолодевшая, свежая, улыбчивая, даже её вечная строгая морщинка на лбу куда-то подевалась.

Руки немедля потянулись к пирожному и конфетам, запенился в стаканах напиток. Когда взрослые на нас не смотрели, Арап чуть ли не до потолка подкидывал конфету и ловил её ртом. Ни одна мимо не пролетела! Девочки смеялись, а мы, мальчишки, пытались вытворить как Арап, но у многих не получалось. А Олега Петровских так даже подавился. Из пяти конфет я поймал аж три. Рекорд нашего стола после Арапа! С намерением понравиться Ольге и рассмешить её, я дерзнул перещеголять всех: ножом высоко подкинул кусочек торта. Открыл рот, однако торт выбрал для посадки мой левый глаз. Сестра Лена незамедлительно сообщила о моей выходке маме. Но мама лишь улыбнулась – что совершенно не устроило нашу зловредную *правильную* Лену.

Мы с Арапом налили в стаканы напиток, воображая его вином, чокнулись и, выпив, поморщились, будто горько. Второй раз у нас не получилось: мама увидела, когда мы чокнулись, и погрозила мне пальцем.

Синя – Лёшка Синевский, брат Ольги – уписывал пирожные, конфеты, орехи, всё сразу, комкая во рту, жадно запивая напитком. Арап шепнул мне:

– Серый, отвлеки Синю: я придумал одну штуkenцию.

Я обратился к Сине, он повернулся ко мне. Арап на место его стакана поставил свой, в котором предварительно размешал большую ложку соли. Многие, затаив дыхание, смотрели на Синю. Он крупно и смачно откусил пирожное и опрокинул в рот содержимое стакана. Его глаза дико округлились, щёки вздулись. Застыв, он несколько секунд глазел на нас, а потом со всех ног кинулся на кухню к ведру. От хохота, наверное, затряслись стены.

Сестра Люба крутила пластинки, а мы, взявшись за руки, кружились или прыгали. Брат Сашок танцевал в центре круга с Марысей, взяв её за лапки и притопывая. Кошка неуклюже переминалась и горящими изумрудными глазами с неудовольствием смотрела на своего партнёра. Укусила в конце концов его за руку и шмыгнула под кровать.

– А теперь – парами, – лукаво-улыбчиво объявила Люба и поставила новую пластинку. Поплыла спокойная обворожительная мелодия.

Мы, мальчишки, замаялись: надо было пригласить девочку на глазах у всех! Возможно ли такое?! Люба с плутоватым прищуром поглядывала на нас. Девочки всеми силами пытались изобразить на своих лицах равнодушие. Смелее и дерзче всех оказался Арап: он с засунутыми в карманы руками подбрёл к Насте. Она вспыхнула и, опустив глаза, неловко подала кавалеру свою пухленькую розоватую ручку. Я тоже насмелился и, краснея и бледнея – чуял – одновременно, пригласил Ольгу. Она театрально-плавно положила ладони на мои плечи. Я замешкался – не знал, куда девать свои руки, и, почувствовав, что уже горю как в огне, только что не обугливаюсь, поспешно бросил их на талию удивлённо на меня посмотревшей подружки. Её лицо находилось в нескольких сантиметрах от моего, а широко открытые глаза настойчиво и смело смотрели на меня. Я стал бестолково крутить головой, словно бы что-то искал. Моё сердце остановилось и я, наверное, на секунду-другую умер, когда наши глаза встретились.

В тот вечер я долго не мог уснуть. Под моим ухом на подушке тяжело дышал старый Наполеон. Я шептал ему на ухо:

– Я люблю. Слышишь, дурачок? А ты Марысю любишь?

Кот встряхивал головой и останавливал на мне светящиеся в темноте глаза.

6. Снова тучи. Снова солнце

Всё ещё лето, всё ещё каникулы – чудесно, прекрасно! И столько солнца, и столько тепла, и столько игр и друзей!

Как-то раз я с мальчишками пошёл на Еланку. Там мы частенько и рыбачили, и купались, и резвились в играх и забавах. Путь пролегал через лесозавод. Проходили мимо погрузки. Пыхтел и фыркал тепловоз, носились юркие автопогрузчики. Я подбежал к отцу, обнял его за тугую обнажённую талию. Он мне улыбнулся, слегка шевельнув усом, на котором сверкали капли пота. Работал он не спеша, со своей обычной деловитой богатырской развалкой. На его тугом загорелом теле шишками взбухали, каменея, мускулы, когда он поднимал доски и забрасывал их в вагон. Грузчики и мальчишки посматривали на моего папку и, думаю, любовались им. Я был горд.

Сверкая пятками, мои друзья пустились наперегонки к реке. Я тоже хотел было рвануть, да увидел тётю Клаву; она работала тут же на погрузке учётчиком. Её привлекательное молодое лицо было освещено улыбкой и не казалось смуглым и смятым. Она подошла к моему отцу, линейкой хлопнула его по плечу и с дерзкой завлекательностью засмеялась в его глаза. Он смущённо, но и жёстко усмехнулся, что-то сказал с подмигом тёте Клаве, и она залилась смехом громче, изящно откидывая свои великолепные воронёно-чёрные волосы назад. Я зачем-то шмыгнул за угол бытовки, в которую вошли тётя Клава и мой отец, притаился у растворённого оконца.

– Чудишь, Клавка, ой, чудишь, – услышал я насмешливый, но омягчевший голос отца.

– Не брани меня – лучше поцелуй-кась.

– А ну тебя!

Моё сердце задрожало, в горле вспухла комком горечь; стало тяжело дышать.

– Дура, у меня же семья.

– Целуй ещё раз! Ну!..

В голову кинулся жар, однако я весь дрожал как в ознобе на морозе. В глазах помутилось. Я, будто с испугу, припустил за ребятами, запнулся, здорово тукнулся о землю, но боли физической не услышал. Спрятавшись в какой-то заросшей бурьяном канаве, заплакал, завыл, заскулил. Однако чуть погодя стал себя успокаивать, уводить от тягостных чувств: «Я плохо подумал о папке, – как я мог, как я мог?! Он такой хороший, лучший на свете папка. Что такое он совершил? Поцеловал тётю Клаву. Что же тут такого дурного?..» Так я говорил, чтобы моё растревоженное сердце снова наполнилось покоем и радостью, чтобы жизнь стала прежней – лёгкой, весёлой, беззаботной. Мне не хотелось расставаться с детством!

Я догнал ребят, и в их пчелином неугомонном кругу мало-помалу позабывалось, пригашалось моё горе. Очередная тучка снова пролетела – да, да, конечно, *почти* пролетела! – лишь слегка затронув меня.

* * *

Нас было пятеро – я, Арап, Синя, братья Олега и Саня Петровских. Концы удилиц вразнобой и весело скакали за нашими спинами. К голым ступням липла подсыхавшая грязь – ночью отхлестал по земле дождь, а теперь – столько солнца с ласкающим жарким ветерком! Мы шумно, азартно разговаривали, перебивая друг друга: «А вот я!..», «А у меня!..», «Да я тебя!..», «Я могу ещё и не то!..», «Ври, ври, завираша!..», «Точно вам говорю, пацаны!..» Где хвастовство, там и тщеславие. Оно в нас точно бы кипело, выхлестываясь наружу. Где хвастовство и тщеславие, там непременно проскользнёт и ложь.

Саня Петровских молчал. Он был в нашей компании самый старший и несловоохотливый, будто немой. На его по-азиатски чернявом, широкоскулом лице почти всегда теплилась полуулыбка, узкие монгольские глаза смотрели на собеседника участливо и умно, а на девушек – по-стыдливому мимо, и вечно он перед ними пунцовел и говорил им, теряясь, какую-нибудь несуразицу. Нам, его друзьям, бывало за него неловко и совестно: такой здоровый и крепкий, а перед девочками – овечка овечкой.

Саня нередко глубоко задумывался, казалось, без причины. Он был поэтом. И его душа мне представлялась синей, как небо. Что за цвет синий? В нём печаль и радость, мудрость и легкомыслие, волнение и безмятежность.

Однажды, помню, Саня подозвал меня:

– Слушай, Серьга, сделаешь одно доброе дело? Дам конфет.

– Сделаю! – Я для него всегда готов был совершить хоть сто дел, ничего не требуя взамен.

– Вот конверт... ты его... – Саня зарумянился. – Ты... понимаешь?.. незаметно подкинь своей сестре Любе. Но только чтобы она не видела и не узнала от кого.

– Сделаю! Давай! – Я схватил конверт и побежал домой; трататакал, воображая себя едущим на мотоцикле.

– Стой! погоди! – Саня подбежал ко мне. – Дай честное слово, что она ничего не узнает, а ты не вскроешь конверт.

– Да на тебе: даю и ещё раз даю тебе честное слово, самое из честнейших слов, – с великим неудовольствием пробурчал я, оскорбляясь его недоверчивостью.

Конверт я тишком подсунул в куртку Любы. Вечером она сидела над голубеньким листком из этого конверта, накручивая на палец завитые бигуди локоны и с задумчивой растерянностью усмехаясь. Я же возвышенно размышлял: «Кончат они школу и поженятся. Примчусь на их свадьбу на белом коне и подарю... и подарю... – В раздумье я закатил глаза к потолку. –

И подарю мешок, нет, два, шоколадных конфет и... и! корову. Появятся у Любы и Сани дети, – а без молока младенцам никак нельзя. Интересно, а, когда я женюсь, – у меня будут дети?» – Этот неожиданный вопрос меня всецело захватил, и я моментально забыл о Любе и её предполагаемой свадьбе.

Тот голубенький листок, к слову, однажды случайно попал в мои руки; на нём было написано стихотворение, и мне хорошо запомнилось на всю жизнь несколько замечательных, на мой взгляд, строк:

Любе Ивановой от...
...Что я такое пред тобой,
Твоей блистающей красой?
Ты шла по берегу, грустя;
Я вслед смотрел, себя кляня.
Твой шаг на солнечном песке
Я целовал в немой тоске...

Но никакой, следует сказать, любви взаимной между Саней и Любой не получилось, однако – как любил, как боготворил!

Итак, мы поднялись на взгорок – брызнула в наши глаза переливающейся синевой Еланка. Пахло рыбой, мокрыми наваленными на берегу брёвнами, еле уловимо вздрагивающей листвою берёз. Дымчатые вербы смотрелись в воду, быть может, любовались собой. На той стороне реки прозрачно курился сосновый лес. Вдали, по берегам уже Ангары, в которую впадала Еланка, – тёмно-зелёная, дремлющая на скалистых сопках, видимо, разморенная жаром, тайга.

Прикрыв веки, я сквозь ресницы видел рассыпанные по реке мириады роскошно лучащихся бликов и, очарованный, поджидал – вот-вот из воды вынырнет что-нибудь этакое сказочное, удивительное, прекрасное. Часто ловилась рыба почему-то только лишь у Сани. А мы, горбившись, сидели возле удочек и скучали; Арап так даже зевал, шутовски крестил рот и бросал камни в воробьёв. Олега поминутно, нервно вытаскивал леску, не дожидаясь, когда клюнет. На прибрежной мели металась малька, и Олега, нарушая все правила рыбалки, стал, как умалишённый, хватать их. Мы, точно по приказу, кинулись выдвигать то же самое. Хохотали и кричали. Саня, не отрывая глаз от своего поплавок, усмехался:

– Вот же дураки!

Вспугнутые рыбки ушли в глубину, а мы давай брызгаться и толкаться. Умаялись, вспотели, растянулись на траве и притихли.

На стебель куста сел жук. Мне были хорошо видны его маленькие глазки и красная глянцевиная спинка. Я поднял руку, чтобы погладить жука, но он в мгновение ока исчез, будто его и не было. «Ну и лети. А я понюхаю жарёк – маленькое солнышко». Во мне всегда рождается ощущение, что жарки греют и источают свет. Я бережно разомкнул нежные, начавшие увядать лепестки – две букашки испуганно устремились на мою ладонь. «Куда же вы? Я не хотел вам мешать!» С трудом удалось загнать их, обезумевших, на прежнее место. Из-за Ангары наплывали громадные, как корабли, светоносно-белые облака; они были чарующе прекрасны. В моей душе рождалось какое-то тихое, робкое чувство любви – любви ко всему, что я видел, что меня окружало, что наполняло моё детство, мою жизнь счастьем и покоем. И мне не хотелось расставаться с этим чувством.

«Ага! кто там такой?» Метрах в трёх от меня столбиком замер суслик. Его пшенично-серая шерстка лоснилась, а хвост слегка вздрагивал. Стоял, хитрец, на задних лапках и не шевелился. Потом стремительным движением откусил травинку и принялся с аппетитом уминать её. Снова отчего-то застыл, лишь едва заметно шевелился его нос и вздрагивал хвост.

Отлежав живот и натрудив верчением шею, я вынужден был повернуться на бок. А поблизости за кустом шиповника заворочался Синя. Меня привлекло его странное поведение: он, привстав, осмотрелся, сунул руку в карман своих брюк и затолкал в рот целую горсть мелких конфет. Ещё раз оглядевшись и, видимо, решив, что никто ничего не видел, прилёг. Раздался чмокающий похруст. Мне стало неприятно. Снова что-то нарушилось и всколыхнулось в моей душе.

Арап, нарочито позёывая, сказал:

– Синя, сорок семь – делим всем?

– А у меня ничего нету, – поспешно отвернулся Синя от подкатившегося к нему Арапа. Подавился, бедняга. Откашливался, багровея и утирая слёзы.

– Пошарим в карманах? – не отставал Арап.

– Правду говорю – пусто, – мычал Синевский.

Я, Олега и Саня посмеивались, наблюдая эту забавную сценку, но нам было так неловко, будто мы друг у друга что-то украли и друг друга же уличили. И посмеивались мы сдержанно, скорее хмуро.

– Завирай, завирай, завируша!

– Ты, Арап, что – Фома неверующий? – злился и вертелся Синя.

– Ну?!

– Гну!

– А давай-кась, Лёха, пошарим.

– Пошёл вон.

– Не ломайся. – И, схватив Синю за руки, заорал: – Пацаны, налетай на жмота!

Я и Олега проворно выгребли из Сининых карманов конфеты.

– Ой, точно, парни, есть, – блеюще похихикивал наш толстощёкенький Синя. – А я и не знал. Ешьте, мне не жалко. Я сегодня добрый...

О рыбалке мы совсем позабыли. Дурачились, спорили, о чём в голову взбредёт, усердствуя перекричать друг друга. Саня рыбачил в одиночестве или же подолгу глядел в небо, которое было усыпано мелкими перистыми облачками, словно бы кто-то там, в высях, распотрошил подушку. А из-за ангарских сопок к ним всё ближе и ходче подкатывались, как подкрадывались, объёмистые сбитые облака. Птицы стали тревожно метаться – казалось, блуждали. В стремительном полёте бросались к воде. Деревья застыли и смолкли, – не прислушивались ли?

Тем временем неугомонный Арап придумал очередную забаву: предложил посостязаться, кто резвее наперегонки проскачет до отметки на одной ноге, при этом вперёд – на пяточках, а назад – на носочках. Вот это будет потеха! Мы все, кроме Олега, бурно изъявили согласие. Олега же, неодобрительно съжив пропечённо-красный нос, предложил *свою* игру, да мы не поддержали его. Незамедлительно принялись галопировать. Властный, капризный Олега, любивший, чтобы всё делалось по его воле и желанию, притворился, будто бы сильно заинтересован пойманной стрекозой и наше новое развлечение ужасно как скучно ему.

Невдалеке чинил забор возле своего покривившегося домка сторбленный дед. Он, посаывая погасшую трубку, трудился неторопливо, с частыми остановками. Его морщинистое серое, как кора, лицо, казалось, ничего не выражало, кроме спокойствия и отрешённости. Он иногда поднимал коричневатую худую руку к глазам, спрятанным в морщинах, и всматривался в даль. Мне совершенно не верилось, что он был когда-то таким же маленьким, как мы, и так же мог прыгать, бегать, резвиться. Мне в детстве представлялось, что старики старыми и появляются на свет, и не верилось, что я когда-нибудь состарюсь, одряхлею, стану таким же мешкотным и безмятежным, как этот дедушка.

– Вы скачите, скачите... как козлы, – сказал нам Олега, даже не взглядывая в нашу сторону, – а я буду играть в пирата.

– В кого, в кого?!

– В пи-ра-та! Да вы скачите, скачите. Чего встали-то, точно столбы? – Олега, насвистывая и подпрыгивая, направился к плоту, который кем-то был привязан к стволу ивы.

Все мы, кроме Сани, побежали за ним:

– И мы с тобой!

– Вот здорово – пираты! – тотчас воспламенила наше воображение эта новая забава.

– Я уж как-нибудь один, без вас. Вам же не нравятся мои игры. Вот и прыгайте! – И Олега стал бодренько посвистывать, отвязывая верёвку от ствола.

– Да ладно тебе, Олега! Нашёл из-за чего дуться, – уже повязывал Арап на свою голову рубашку чалмой.

Олега презрительно морщил губы, глубокомысленно потирал пальцем выпуклый большой лоб, как бы обмозговывая: брать нас в свою игру или нет?

– Так и быть: играйте со мной, – зевнул Олега. Он словно бы непереносимо, болезненно досадовал, что вынужден-таки согласиться. – Поплывём на Зелёный остров, – зазвучал его голос повелительно, но и по-командирски строго, красиво. Да, он был, конечно, вожак, полководец! – Там стойбище индейцев. У них уйма золота и бриллиантов. Приготовить мушкеты: будет жаркий бой!

«Остров!», «Индейцы!», «Золото!», «Бриллианты!», «Мушкеты!», «Бой!» – как это прекрасно! Эти слова уже раздавались самой великолепной мелодией в самом моём сердце. Мы, сбиваясь с ног, одним духом собрались в поход. У каждого на голове появилась чалма с пером или веткой. Арап повязал левый глаз какой-то грязной лохмотиной и, сам чёрный, шоколадный, свирепо оскаливал зубы, плотоядно сверкая ими. Длинную тонкую корягу я вообразил мушкетом, свои чёрные брюки приспособил под флаг на плоту.

Саня снисходительно усмехался, наблюдая за нашими приготовлениями. Когда же мы отчалили от берега и решительно погребли к стремнине, Санин рот широко открылся, и улыбка, должно быть, уползла в него.

– Э-э-э! вы что, дурачье, серьёзно, что ли, на Зелёный?

– А ты как думал? – задиристо ответил его брат.

– Ведь с минуты на минуту ахнет гроза. Смотрите, милюзга!

Мы нехотя глянули на приангарские сопки. Лиловая, с землисто-серым провисшим брюхом туча кралась, как бы отгалкивая от себя те, восхищавшие меня недавно, огромные бело-снежные облака, по тускнущему небу, и чудилось, что она всасывала в своё необъятное чрево и его голубое полотнище, и стайки мелких беззаботных облачков. Но она находилась ещё там где-то, вдали.

– Ерунда, – удаю, как саблей, отмахнул рукой наш бестрепетный вожак Олега. – Мы успеем на остров до дождя. А там – шалаш отличный. Вечером, Саня, вернёмся.

– А вдруг дождь надолго зарядит? – тихонько спросил у меня Сия.

– Не зарядит! – мужественно нахмурился я. Бог ведает, почему я был уверен! – Ага, струсил!

– Ещё чего?! – вскинулся тучный Сия и стал грести руками, помогая Арапу, который захватывал тугую волну широкой доской.

– Хотя бы и зарядит, – молодцевато сказал Олега, – что ж из того? Мы ведь теперь пираты, Сия! А в дождь легче напасть на индейцев.

– Вернитесь! – не унимался Саня. Он спешно сматывал удочки. – Переждём грозу у деда, а потом поплывём хоть к чёрту на кулички.

– Е-рун-да, – снова отмахнулся бравый Олега.

– Коню понятно – ерунда.

– Будет тебе, Саня, паниковать.

– Сплаваем на Зелёный и вернёмся. Не паникуй.

– Я вам дам, ерунда. Вернитесь, кому велел, милюзга сопливая!

– Саня, – критично сощурился я, досадуя на него, – что ты за нас печёшься, как за маленьких? Мы *нисколько* не боимся твоей грозы.

Я стоял на плоту – вернее плотике, который состоял из трёх шатких брёвнышек, – с важностью, широко расставив ноги, приподняв плечи и выставив нижнюю губу. Я хотел, чтобы меня увидела Ольга или сёстры. Тщеславие распухало во мне, услужливое воображение явило восхищённое лицо моей очаровательной подружки, а следом – гордых за меня родителей моих и сестёр. Воображались возгласы приветствия какой-то толпы с берега, рисовались в мыслях мои героические поступки.

Тучу прожёт безразмерный огненный бич; может, небесный пастух-великан гнал её куда-то. В небе громоподобно захрустело – мерещилось, будто внутри тучи стало что-то, проглоченное, перемалываться. На нас дохнуло сырым пещерным холодом. И вдруг – чудовищно оглушительный грохот, как будто покатила с горы громадная каменная глыба. Я сжался и покосился на берег: «Ой, мама!.. Далеко-о-о!» Коленки задрожали и подломились, а в животе отчего-то заурчало и опасно ослабло.

По берегу лохмато взнялись бороды пыли. Деревья сначала сильно нагнулись, потом дёрнулись назад и гибельно забились. Где-то мрачно и хрипло вскрикнула стая ворон. Чёрно-зелёная вскосмаченная волна кинулась на наш углый плоток. Река судорожно морщилась и бурлила под тугим лютым ветром.

Арап прекратил грести. Мы все переглянулись и, наверное, готовы были друг другу сказать, что не мешало бы вернуться. Синевский первым попытался направить плот к берегу. Да было уже слишком поздно: стрежень втащил наше судёнышко на середину своей мускулистой спины и быстроного понёс в мутную, пыльную даль.

Снова пронзил тучу огненный бич. Стал крапать студёный дождь. Прошла минута-другая, и он буквально стегал бурлящую воду, мчавшийся на остров плот и нас, прижавшихся друг к другу, до боли в суставах вцепившихся руками в зыбкие, скользкие брёвна.

Саня бежал по берегу, что-то кричал нам, размахивая руками. Его голос, в клочья разрываемый ветром, вяз в густом ливне.

Внезапно под плотом глухо проскребло, и нас, как щепочки, вышвырнуло в воду, – мы врезались в релку. По моим мышцам щекочущим огнём пронёсся страх. Лишь некоторое время спустя я почувствовал, что вода ужасно холодная, если не сказать, ледяная.

– Ма-ам-м-м! – пробулькал я, вынырнув, как поплавок. Хлётко молотил по волнам ладошками и отчаянно выхватывал ртом спасительно-сладостный воздух. Поймал взглядом товарищей – они протягивали мне руки, стоя по колено в воде. Плот удалялся, исчезая в колеблющихся джунглях ливня.

К острову брели уныло, молчком. Дождь дробно припускал, творя сплошные водяные заросли. Река кипела и пузырилась. Моё тело нещадно гвоздил озноб.

Когда выбрались на берег, меня, казалось, обожгло:

– Мои брюки! – вскрикнул я и побежал к реке. Но сразу одумался.

– Упорхали они, Серёга, – лыбился губастым, синеватым от холода лицом Арап, и все засмеялись, содрогаясь, похоже, единственно от озноба.

Мои брючишки бились под ветром и прощально махали гачами.

– Ну и чёрт с ними, – стучал зубами я, но с трудом сдерживал слёзы отчаяния: «Что скажет мама? Опять огорчу её!»

Вскоре небо подкрасило в унылые грязновато-синие тона, оно выглядело сморщенным, вроде как даже виноватым. Ветер разбойничал в кронах деревьев, сотрясал и взлохмачивал ветви. Мы тряслись в дырявом, наклонившемся под нажимом ветра шалаше, а кое-кто из нас – не будем называть! – всхлипывал. Сверху лило, снизу – лужа и жижица, с боков свирепо, во всю мочь поддувало. Всё было до омерзения мокрым, скользким. Как мы были несчастны! Хотя бы капельку солнечного света дало бы нам небо!

Саня – как мы потом узнали – побежал к деду за лодкой, но она оказалась прохудившейся. Сбежал в Елань за ключом от своей лодки, находившейся ниже острова километра на полтора. Один волочил её против течения; истёр ладони в кровь.

Тяжело дыша, он резко всунул своё разгоревшееся, скуловато-поджатое лицо в шалаш и хрипло выдохнул, как кашлянул:

– У-у, ш-шпана!.. – И, по-мужицки твёрдо ступая, направился к лодке. Мы молчком рассыпанной стайкой щенков поплелись следом.

Выглянуло закатное алое солнце. Да, оно всё же появилось! Всюду заискрилось, засияло. Мир был бодр, чист, красновато обвеян этим кротким светом жизни. Мы снова принялись прыгать, толкаться, брызгаться. Детство было с нами, только на часок-другой оно куда-то словно бы уходило, наверное, по своим неотложным делам. Кто знает?!

Дома в своей тёплой, мягкой, вечно свежей благодаря маме постели я долго не мог уснуть, в голове мельтешили события минувшего дня. Снова мечтал, запоем мечтал. Но мечтал о простом и обычном: во что буду завтра играть с ребятами, что смастерю вместе с папкой, что подарю на день рождения Насте и маме. Неожиданно вспомнил молодое красивое дерзко-смуглое лицо тёти Клавы, папку рядом с ней. Но всё неприятное и досадное хотелось поскорее забыть, чтобы не рассыпалось, как песочный замок, в моей душе лёгкое нежное чувство к отцу. На мою кровать запрыгнули Марыся и Наполеон. Кот по-старчески тихо запел под самым моим ухом. Кошка развалилась у меня в ногах, но я переложил её на подушку и, облобызав обеих, стал засыпать под их тихое мурлыканье. Мне снилось, как я летал на воздушных шарах, потом плавно падал вниз, взмахивая, как птица, руками. По телу ласково скользили струи парного солнечного воздуха.

7. Гроза

А глухой ночью загремела дверь. Взвился и покатился по Елани собачий лай. Метнулась в потёмки мама. Свет саданул в мои глаза, и я тоже поднялся. Испуганно выглядывали из-под одеял сёстры. Тоненько захныкал в соседней комнате не совсем проснувшийся Сашок.

Качающегося, растрёпанного папку, поддерживая под мышки, завёл в комнату дядя Петя, брат мамы, широкий такой, грузный дядька с весёлыми хитренькими глазками; он работал с папкой на заводе.

Мама исподлобья, одинаково сурово смотрела на обоих вошедших. Как страшны были её сужившиеся глаза! Мне стало боязно и тревожно. Снова в мою жизнь вторглось, как разбойник, несчастье.

Папка мешком повалился на кровать и разбросал ноги и руки.

– Ты, сестрица, извини, что так вышло, – лопотал дядя Петя, вёртко ускользя глазами от мамы. – Перебрал твой муженёк. Не усмотрел я. – Мама сумрачно, каменно безмолвствовала, плотно укутавшись по подбородок, даже по самые губы в большую пуховую шаль. – Привязались мужики после смены: сбросимся-де. Ну, вот, сбросились... Я тоже гусь хороший!

Очнулся и замычал папка, но глаз, однако же, не открывал, видимо, тоже не отваживался посмотреть на маму и полвзглядом: *помнил* её глаза даже в этом полуживотном состоянии пьяного бесчувствия!

– Что же ты, дал слово, пить не будешь. А сам сызнава за своё? – хрустко произнесла мама. – О детях подумал бы, ирод.

Отец помалкивал и тяжело, сапно дышал, всё не открывая глаза. Дядя Петя, уже поглядывая на дверь, отчего-то только сейчас снял перед мамой кепку, почесал свою маслянисто взблёскивающую пролысину. Помялся, ещё почесался там да тут и стал, пятясь к двери, прощаться, комкая слова.

Мама на своего брата так и не взглянула, будто было там пустое место. И более ничего она не сказала; ушла в комнату хныкавшего Сашка, баюкала его.

«Почему люди несчастны? – думал я, когда лежал в постели, прислушиваясь во тьме к вздохам мамы и сестёр. – Почему мама должна быть несчастливой? Почему папка не хочет, чтобы нам всем жилось радостно и беззаботно?...» Я, наверное, впервые в жизни задавал себе такие трудные, совсем не детские вопросы.

Однако заснул я с мыслями, что ведь обязательно настанет утро, вновь взойдёт и засверкает солнце, заголосят еланские петухи, а нашу жизнь никогда-никогда не омрачат печали и горести, и что мама станет самой счастливой на свете, и отец образумится и заживёт с нами одной семьёй, в ладе и согласии.

8. Моя подружка

В Ольге Синевской мне нравилось всё: и её маленький прихотливый рот, и её чуть вздёрнутый нос, и её сверкающие карими звёздочками глаза, и её банты, всегда такие роскошные, нарядные, и её платья, казавшиеся мне почему-то не такими, как у других девочек. Она частенько носила светлое и кружевное, и я дразнил её бабочкой, а она притворялась обиженной:

– Я не бабочка, а девочка Оля, вот такушки! – Однако не могла побороть расцветавшую на её лице улыбку.

Как-то раз, разгуливая по оврагу, мы с ней выбрали к заброшенному старому дому. Здесь когда-то жила одинокая, загадочная старуха Строганова; рассказывали, что она была весьма скаредная и зажиточная, что после её кончины деньги и золото остались лежать где-то в доме и что каждую ночь в нём кто-то до ныне прохаживается со свечой, – поговаривали, мол, дух старухи оберегает добро. Мы, дети, побаивались её дома, вечерами зачастую обходили его стороной, но иногда днём ватагой забирались вовнутрь – там, увы, было пусто и сыро.

Ольгу, помню, вечно-то тянуло в какие-нибудь тёмные, таинственные углы, во всякие чуланы и сараи, и в глубине души я восхищался её какой-то недевчоночьей смелости. И вот сегодня – что же она опять? Предложила, отчаянная голова, зайти в строгановский двор! Я со скрипом и без грамма желания последовал за ней. Очень, скажу честнее, трусовато робел: вдруг покойница покажется или черти выскочат. Налетят, утянут, загрызут! Однако видел твёрдость Ольги и бодрился, как мог, – насвистывал, с лентой покидывал в ставни камушки. Но как начинало колотиться моё сердце, когда я слышал какой-нибудь подозрительный звук, который, как мне мерещилось, доносился из дома, из его мрачных, хладных глубин.

Ольга же – дальше: о, ужас! – предложила зайти в сени. Я притворился, будто не услышал. Она, однако, стала настаивать, тянуть меня за руку, чуть не волочит за собой. Что ж, вошли вовнутрь, на цыпочках, едва дыша. На нас сурово дохнуло запахом плесени и нежели. Из густой тьмы комнаты, мне чудилось, доносились шорохи, похрусты, царапанья.

– Пойдём отсюда, – задыхаясь своим голосом, предложил я.

– Какой же ты!.. Тоска с тобой. Дальше не пойдёшь? Ах, да: ты же боишься.

Я почувствовал, что загорелся, воспламеняюсь десятком костров разом. Она улыбчиво, плутовато покосилась на меня.

– Я-а-а, бою-у-у-у-у-у? – хрипато, на срыве голоса пропел я и отчаянно шагнул в комнату.

Перед нами во весь рост стояла темень, несомненно, таинственная и зловещая. Что она скрывала – скелетов, домовых, старух с костлявыми руками? Мне стало жутко страшно, у меня затмевалось в голове. Не знаю, что испытывала Ольга, но внешне была спокойна, только сильно втянула в плечи голову и крепко сжала мою ладонь.

Только-только я мало-мало успокоился, только-только начал воображать, что смелый, как внезапно раздался ужасающий грохот и треск, и мне привиделось – что-то исполинское кинулось на нас из мрака.

Я, не помню как, очутился на улице. Запнулся, хлестанулся о землю, подскочил пружиной. Что делать? Удирать?!

Моё сердце словно бы прыгало, готово было выскочить, вылететь из груди, меня прошиб пот. Колено содрал до крови, но боли не чувял. Не мог вымолвить ни одного слова-полслова. Ольги рядом не оказалось. В доме – ти-и-и-и-хо. Я громко, но тонким жалостливым голосом позвал:

– О-о-о-ольга.

– Ау! Что-о-о? Где ты? – спокойно, буднично отозвалась она. В её голосе угадывалась усмешка.

– Что там?

– Я уронила доску. Тебя проверила. Не обижайся. Иди сюда.

Кажется, никогда раньше и после я не испытывал столь мучительного чувства стыда, как тогда. Я желал провалиться сквозь землю, улететь в облака, – что угодно, но только не видеть бы свою коварную подружку. Хотел было убежать, скрыться, да вовремя одумался: от позора всё равно ведь не спрятаться.

Вошёл, понунив голову, в дом. Со света в крошечной темноте совершенно ничего не видел; натолкнулся на Ольгу и нечаянно коснулся губами её холодного носа, да так, что было похоже на поцелуй.

– А я маме скажу.

– Что?

– Ты меня поцеловал.

– Ещё чего! Я её поцеловал! Хм, вот сочинила!

– Поцеловал, – настаивала Ольга, – и даже не говори, Серёжка.

– Не целовал. Я что, совсем, что ли?

– Целовал.

– Нет.

– Да.

– Нет!

– Да. Да! Да!! Увидишь, скажу. Мама тебя отругает. Вот такушки!

Мы вышли на улицу. В нас пахнул ветер тополиным пухом; у нас зачесались носы, мы одновременно чихнули и засмеялись. Увлечённо или даже деловито наступали на скопища тополиного пуха, поднимая его вверх, стараясь, чтобы он выше, намного выше взвёлся, ещё и ещё чихали и кашляли. А в небесах над нами во взъерошенных ветром облаках барахталось брызжущее радужным светом солнце.

– Не целовал, – продолжал я играть роль упрямяца.

– Целовал.

– Скажешь?

– Скажу.

– Хочешь, Ольга, отдам тебе калейдоскоп? Но – молчи.

– Не-ка.

– Что же хочешь?

– Ничего.

– Скажи – что? Не упрямясь!

– Ни-че-го! Вот такушки.

– Так не бывает.

– Ладно, – наконец согласилась она, пальцем мазнув мне по носу, – не скажу. Но-о, ты, до-о-лжен признаться мне, что по-це-ло-вал.

– Не целовал!

– Как хочешь. Скажу.

– Ладно, ладно. Целовал.

Она победоносно, но милостиво улыбнулась. «А что, если по-правдашнему чмокну?» – азартно подумал я, недоверчиво, однако, прищуриваясь на Ольгу. Потянулся, поклонился к ней туловищем. Эх, нет! Всё же не отважиться мне! Снова принялись за пух. И начихались и накашлялись мы до такого состояния, что явились домой с красными воспалёнными глазами, будто наревелись. Мама и сёстры – расспрашивать меня да уже чуть не утешать, а я, как дурачок, хихикаю и молчу.

9. Игры, игры, игры...

Мы играли в семью; девочки представляли из себя жён-хозяек, а мы, мальчишки, – мужей-охотников. Разбились на три пары: Ольга и я, Настя и Арап, Лена и Олега.

Арап приволок с охоты здоровенную корягу, которую он воображал убитым волком, завалялся на ворох веток и показывал всем своим видом, что, мол, умаялся и что – завидуйте! – удачливый охотник. Повелительно зыкнул:

– А ну-ка, жена, живо стяни с меня сапоги!

– Чего-чего? – широко раскрылись глаза Насти. Она, плакса и недотрожка, готова была зарыдать. – Я тебе сейчас стяну! И не захочешь после.

– Да я же шутя говорю, жена! Ишь, сразу раскричалась!

Настя решительно отказалась быть его женой. Мы с трудом уломали её поиграть ещё, хотя бы немножко. Ведь какая увлекательная игра!

Утихомирились, уселись за стол: девочки приготовили обед. Он состоял из комков глины – котлеты и пельмени, палок – колбаса и селёдка, листьев и травы – что-то из овощей, камней – фрукты и орехи, кирпичей – хлеб. «Яства» наши домовитые девочки легко находили под ногами.

Ольга, ухаживая за мной, подкладывала мне самые большие лакомые куски и требовала, чтобы я непременно всё съел, «подчистил тарелку, чтобы не мыть её». Я притворялся очень довольным угощением, аппетитно причмокивал, держа деревяшку или кирпич около губ. Нас, мальчишек, игра смешила. Мы кривлялись и паясничали, как бы насмехаясь и над девочками, и друг над другом. Девочки же, напротив, воспринимали игру как нечто чрезвычайно серьёзное и важное и становились весьма требовательными и взыскательными, словно бы не играли, а жили взрослой *настоящей* жизнью.

Лена открыла свой магазин, всюю нахваливала товары. На прилавок выложила помятые кастрюли и чайники, дырявый ржавый таз, пустые консервные банки, тряпки и много чего ещё, извлечённое из кладовок и найденное в оврагах. Мы принялись торговаться – бойко и шумно. Ольга остановила свой выбор на порванной собачьей шкуре и, похоже, только потому, что шкура была самым дорогим товаром в магазине Лены, – стоила аж триста стёклышек. Ольге, как я понял, захотелось пощеголять перед девочками, показать им, что может себе позволить купить столь дорогостоящую вещь. Настя тоже намеревалась купить эту шкуру, и стала вместе с Арапом азартно собирать стёкла.

– Ольга, давай лучше купим чайник и кастрюлю, – несмело предложил я. – Дешевле. Зачем тебе шкура? Она же совсем гнилая, на неё дыхнёшь – рассыпется.

– Какой же ты! Тоска с тобой, – покосившись на проворно собиравших стёкла Арапа и Настю, шепнула Ольга. – Хочу шкуру. Она мне нравится.

– Что же в ней может нравиться?

– Хочу шкуру! Вот такушки!

Мне пришлось смириться. Ожесточённо разбивал бутылки, банки, ползал по земле. Настю и Арапа мы опередили. Шкуру после игры, к слову, Ольга выбросила, а у меня ещё несколько дней болели, саднили порезанные пальцы и натёртые об землю колени.

Лена привела из дома Сашка и чуть не торжественно огласила, что он будет её сыном. Она насильно уложила его на голую ржавую железную кровать и повелела спать. А Олега тем часом собирался на охоту и захотел взять «сына» в помощники. Однако Лена властно-шипяще заявила, что ребёнку нужно поспать. Оба были упрямы и настырны до умопомрачения и не захотели друг другу уступить ни в какую. Олега вырвал из её рук Сашка и потянул за собой. Лена насилиу, с криком и шлепками, отняла его.

– Хочу на охотю! Пусти, Ленка-пенка! – вырывался из рук сестры и сердито топал ногой брат. – Ма-а-ма! – в конце концов взвыл малыш.

Напугавшись пронзительного, отчаянного крика своего «сына», Лена выпустила его. Сашок, захлёбываясь слезами, убежал домой к маме.

– Ты во всём виноват, – заявила Лена Олеге, прекрасно понимая, что её должны будут отругать за брата. – Я маме *всё* расскажу! Придурок, эгоист!..

– Сказанула – я виноват! Не я, а ты. Вот тётя Аня тебе всы-ы-плет! Сама ты дура, к тому же неумытая...

– Чего-чего?! – установила Лена руки в боки. – Ах, ты паразит несчастный, ирод задрыпаный!..

Они препирались и скандалили, упрекая друг друга. Мы заскучали, наблюдая за ними; на наши увещевания они не отзывались. Как они были увлечены! И как они были нам противны!

Мы, мальчишки, хмурясь и важничая, стали собираться на охоту: не мужское дело браниться с женщинами и выслушивать чужую перепалку!

В конце нашей улицы находилось небольшое заросшее камышом и подёрнутое тёмно-зелёной тиной болотце, – к нему я и направился охотиться. Я был в полном боевом снаряжении – под индейца: на плече бравенько висел лук из тополя, за поясом с воинственной ощеренностью торчало пять стрел, на бедре красовался деревянный пистолет с длинным дулом, за ухом парадно белело большое петушиное перо, а за спиной вздуто висел мешочек с провиантом: Ольга собрала мне в дорогу хлеба – три-четыре увесистых кирпичных обломка и пять-шесть котлет, из глины, разумеется. Какой-то парень, увидев меня, спрятался за столб и оттуда тряс челюстью и коленками, показывая, как сильно меня боится. По улице я шествовал, можно даже сказать, царственно, с задранной головой. Наверное, в те минуты я был самый гордый и тщеславный человек в Елани и окрестностях.

– Ага, вот и подходящие мишени!

Я нагнулся и побежал к невысокому щелястому забору, по ту сторону которого вспахивали грязными рылами картофельное поле два поросёнка. Я присел на колено перед дырой, вставил в лук стрелу с присоской, натянул тетиву, но внезапно кто-то крепко схватил меня за ухо и приподнял.

– Ты чиво, фулиган, вытворяешь? Ишь, удумал, пакостник!

Я со страхом и мольбой заглянул в маленькие, как горошины, ехидненько сощуренные глазки дяди Васи, хозяина поросят. Но тот сильнее, со злорадным удовольствием закрутил моё ухо.

– Д... дедушка, стрела ведь не боевая. Я больше не бу-у-уду! – От боли я стал подпрыгивать, словно меня поместили на раскалённые угли. – Я не по-правдашнему...

– Не по-правдашнему! А ежели угадал бы в глаз? Пойдём к твоему батьке: пушай он тебе пропишет по первое число.

Я рванулся и припустил от деда что было сил. Мое ухо горело. Спрятался в кустах. Увидел Арапа – он с перьями на голове, составлявшими великолепную корону, с двумя деревянными

копьями в руках осторожно полз к бычку, который, помахивая хвостом, мирно пил воду из болотца. Разрисованную сажей и мелом негритянскую физиономию Арапа было трудно узнать. От восторга я чуть было не вскрикнул.

– Арап! – шёпотом позвал я его. – Давай вместе охотиться?

– Ползи, Серый Коготь, ко мне, но – тихо-тихо. Вон бизон, – шипел он в самое моё ухо, строго указывая взглядом на бычка. – Мы – индейцы племени ги-ги-ги. Добычу зажарим на костре. За мной, Серый Коготь! – И он с подпрыгом вскочил, улюлюкая, кинулся к бычку. Я во всю мочь понёсся за ним, издавая восторженный воинственный клич.

От удара копьём бычок подпрыгнул, остановил на нас свой изумлённый взор. Удар второго копья заставил его грозно замычать. Он склонил голову и ринулся на нас с очевидным намерением поддеть кого-нибудь своими маленькими рожками. Мы не на шутку струхнули. Опрометью занырнули в заросли акации, но грохнулись в глубокую канаву с колючими кустами засохшего шиповника.

– Придётся в следующий раз зажарить, – морщился и потирал уколотые, поцарапанные ноги и руки Арап.

– Пусть подрастёт: больше мяса будет, – со стоном вытягивал я из рубашки колкий и цепкий стебель.

– Во у тебя, Серый, дырища на рубахе!

– Ерунда! – отмахнулся я и зачем-то посвистел, этак беспечно, развесело. Однако подумал: «Эх, и влетит же мне от мамы!»

Потом мы сидели за столом из ящичков и неструганных досок со своими «жёнами» и пили разлитую в бутылки из-под вина воду, кричали, толкались, потешались. Детство, это всё ещё было детство! Неповторимое *наше* детство!

10. Актриса-белобрыса

– Серёжка, вот так надо делать! И почему ты понять не можешь?! – внушала мне двенадцатилетняя сестрица Лена, показывая, как, по её мнению, следует поливать капусту.

– А я как? Ведь именно так. Смотри лучше!

– Нет, не так... О-хо-хо! – страдальчески вздыхала она, сердито заглядывая в мои глаза. – И что с тобой поделаешь? Какой ты противный ребёнок, если бы только ты знал! Льёшь прямо на капусту, а нужно с краю лунки. С краю! Смотри в оба: последний разок показываю!

И она, неподражаемо важничая, изображая на курносом, конопатеньком лице нечто эталонное учительское, взрослое, старательно показывала. Я косился на её туго, аккуратно заплетённые косички: «Дёрнуть бы их, что ли! Привязалась, точно репей. Бывают же такие гадкие девочки!»

Лена, к слову, всегда и всюду, с непонятным для меня наслаждением, если не сказать – с упоением, играла роль строгой, взыскательной хозяйки. Она неизменно бдительно и зорко следила за каждым моим движением, порой поминутно указывала на что-нибудь сделанное мною неправильно или неловко и в душе, думаю, бывала рада-радехонька моим промахам.

– Ну, понял, как надо поливать?

– Отстань! – обиженно и гневно задрожал мой голос. – Выдумщица!

– У меня уже голова разболелась из-за тебя, – неожиданно заявила она страдальческим, до писка утонченным голосочком. – Как ты меня истерзал!

– Актриса-белобрыса! Актриса-белобрыса!..

– Так-так! – вскинулась, вмиг запамятовав о своей болезненности, Лена. – Я всё маме расскажу: и как ты дразнишься, и как губишь капусту, и ещё кое-что приплюсую!..

– О-о-о! – стоном вырвалось из моей груди, и я надолго замолчал: всякое пререкание только лишь приумножило бы «взрослость» в сестре, и не миновали бы мы, может быть, настоящей ссоры, а ругаться я не любил и не умел.

Сестра была старше меня на три года и, по всей вероятности, поэтому полагала, что может повелевать мною, всякий раз поучать меня, одёргивать. Она подражала маме – частенько исполняла роль домовитой женщины, которую одолевают заботы. Не было в семье дела, в которое она не встряла бы. Копила медяки в фарфоровой собаке; потом обзавелась большим кожаным кошельком. Но иногда бывало так, что у мамы кончались деньги, и Лена – да, она была щедрой девочкой! – сразу отдавала ей свою мелочь. Любила ходить в магазин; как взрослая прекословила продавцам, но и сама страстно мечтала стать торговым работником. Слово «товаровед» звучало для неё, полагаю, поэтически.

Как-то раз я был с ней в магазине.

– Вы не додали мне, если хотите знать, восемь копеек, – с грациозной важностью пересчитав сдачу, заявила Лена продавщице.

По очереди пополз ропоток. Холодное глинисто-жёлтое лицо продавщицы превращалось, как в печке, в раскалённо-красное:

– Девочка, прекрати выдумывать. Считай получше. – И очень приятно – как, видимо, она полагала – улыбнулась, выпячивая челюсть, следующему покупателю.

– Я подала вам два рубля. Вы должны были сдать девяносто две копейки, а сдали восемьдесят четыре, если хотите знать. Вот ваша сдача! – Лена пришлёпнула деньги на прилавок и, как продавщица, сощурила свои хитрые, каверзные глазёнки.

Мне показалось – Лена была даже рада, что её обсчитали: вероятно, она сердцем вожделела обличать и одёргивать кого бы то ни было, сама того не сознавая.

Ропот очереди взмахнул до шмелиного гудения. Продавщица сжала позеленевшие губы и обмерила Лену испепеляющим царственным взглядом.

– Я тебе, девочка, сдача точно. Нечего выдумывать!

– Да вот же она, сдача ваша!.. Дяденька! – обратилась Лена к рядом стоявшему мужчине. – Посчитайте, будьте любезны.

– Какая глупая девочка! – лихорадочно захохотала, будто заикала, нахлебавшись воды, продавщица. – Нужно посмотреть в её кармане: не там ли эти чёртовые восемь копеек. А впрочем – на тебе двадцать, подавись! Но не мотай мои нервы, сделай одолжение!

Продавщица порывисто, в беспорядочных, почти что судорожных движениях пальцев извлекла из портмоне монету и с треском припечатала её на прилавок. Лена из своих денег отсчитала двенадцать копеек и с замысловатейшей усмешкой предельно аккуратненько положила их на прилавок.

О-о, сие надо было видеть! Большой – не меньше – театр одного актёра!

Лена – да, да, она была славной девочкой! – во всём и всегда первая помощница мамы, её, что называется, правая рука, но никогда не выделялась ею в свои любимицы. Наша мама, хочется отметить, была как-то ровна ко всем нам, своим пятерым детям; может, кого-нибудь из нас втайне и любила по-особенному, нежнее, что ли, но мы не улавливали разницу.

«Взрослое» в поведении и замашках Лены беспрестанно взвихряло в наших отношениях ледяные вьюги, холодя и знобя мою душу, но я никогда не становился к ней враждебен или отчуждён. Я, несмотря ни на что, уважал и временами даже обожал её. Однако Лена насмеялась над моими чувствами, дразнила меня Лебединым озером (я любил танец маленьких лебедей).

Однажды я, Лена и брат Сашок остались одни. Как только мама вышла из дома, Лена начала преображаться с невероятной прытью: надела фартук, почему-то не свой, а мамин, который был на ней ниже носков, повязала голову косынкой, опять-таки маминой, засучила рукава и подбоченилась: вот она я! Из девочки она превратилась в маленькую хозяйственную жен-

щину. Придирчиво, с её характерным зорким прищуром осмотрела нас и, укоризненно покачивая головой, изрекла:

– Что за грязнули передо мной! Два дня назад на вас надели всё чистое, а какие вы теперь? Поросята, и только!

Мы переглянулись с Сашком: и впрямь, наша одежда была грязноватенькой.

– Раздевайтесь: буду стирать. Живо! Раскочегарьте печку и принесите воды из колодца. Сил моих нету смотреть на вас, замарашек!

Меня развлекали и потешали эти по-петушиному воинственные причуды Лены. Я немножечко покуражился, не подчиняясь и привередничая, но так, для накала игры, хотя чувствовал, что для сестры началась отнюдь не игра.

Я и брат стали «выкобениваться» – разыгрывать из себя непослушных детей. Сашок сиял и сверкал весельем и желанием поозорничать. Он подпрыгивал, с визгом удирал от сердившейся на него Лены и даже укусил её за палец. Она вскрикнула и заплакала, уткнувшись в фартук.

– Прости-и-и-и меня-а-а-а, пожа-а-а-а-луйста! – повинно стоял перед Леной братишка и поглаживал её по плечу. – Я неча-а-а-а-янно.

– Ого – «нечаянно»! – притопнула Лена. – Чуть палец не откусил. Давай-кась я у тебя так же хрумкну! – и накинута на брата.

Сашок вырвался из её рук и с визгом закатился под кровать. Мы устроили такую возню, что пыль стояла столбом, а может быть, – столбами. Лена на время, как частенько с ней случалось, напрочь забыла о своей роли взрослой.

Мы взмокли, раздумялись, взлохматились, ну, как черти.

Наконец, мало-мало отдышавшись и утихомирившись, дружно принялись за наше общее дело – за новую игру под названием «стирка». Лена приготовила корыто и стиральный порошок, я принёс из колодца два ведра воды, брат подбросил в печку дровишек; мы отдали сестре грязную одежду и надели чистую.

– Два огурчика, – похвалила нас сестра, подмигнув.

Пока вода грелась на печи, Лена изводилась от нетерпения. И принялась стирать с такущей рьяностью, что брызги долетали до потолка, а пена шматками вываливалась из корыта на пол, и минутами казалось, что наша виртуозная прачка стоит по щиколотки в снегу.

Но постирала при всём при том на славу: сколько раз маме помогала. Развешала одежду с нашей помощью на протянутую через комнату верёвку и – призадумалась. Мы с Сашком притихли: что же она ещё этакое интересненькое выдумает? Как хотелось поиграть ещё во что-нибудь!

– Я буду печь блины, – строго и важно возвестила она.

– Ура-а-а-а! – приветствовали мы с Сашком выбор сестры. Как это здорово – блины, блинчики! Какое нас ожидает объедение! Мы знали, до чего были вкусны и душисты блины, булочки или пирожки, когда их пекла мама.

Но получится ли у Лены? Хм, само собой разумеется, получится! Она же столько всего умеет и знает! Интригой – но маленькой, очень-очень маленькой – для меня и Сашка оставалось одно незначительное в нашем разумении обстоятельство – Лена будет печь блины впервые. Что ж, когда-то ведь надо начинать!

И она начала. Ухнула в таз целый пакетище муки – её обволокло густое, можно сказать, беспроглядное облако. Мы слышали чихания, кашель, сопение, однако едва различали махавшую руками сестру. Она появилась перед нами вся белая, как луна, и, показалось, поседевшая. Продирая кулаками глаза, ещё раз чихнула, да так звонко, что наш старенький, вечно дремлющий кот Наполеон, очнувшись, подпрыгнул и воинственно выгнулся.

Лена поставила на раскалённую печку сковородку, вылила в муку пять яиц и два ковша воды, принялась месить руками. И опять такая её обуяла рьяность, что в меня и брата поле-

тело тесто. Шлёп, шлёп – и по моей рубашке поползли две большущие кляксы. Я попробовал стереть их пальцем; и так, и этак подцеплял, тянул, стряхивал, однако лишь размазюкал их до ужасного безобразия.

– Что ты наделала, что ты наделала?! – качая головой и причитая, досадовал я.

– Ничего страшного, если хочешь знать, – секундно растерялась Лена. Тут же скомандовала: – Не паниковать, Лебединое озеро! Снимай! Живо!

Она шустренько обмыла руки, мокрой щёткой по рубашке – шух, шух, шух. Где кляксы? Нет клякс, как и не бывалочки их!

Киношным ковбойским жестом набросила на гладильную доску мою рубашку, включила утюг, прищёлкнула пальцем:

– Ай момэнт, и ваше рубашенция, маэстро Лебединое озеро, будет суше самой сухой на свете палки!

«Ну, разошлась наша хозяйюшка!» – подумал я, любуясь сестрой: какая артистка, какая умеха!

Но только Лена гладить, как брат вдруг заверещал:

– Сковородка дымит! Скорее, Ленча, пеки: блино-о-ов хочу-у-у!

Лена, вихрем сорвавшись с места, впопыхах плюхнула ещё не разогревшийся как надо утюг на мою рубашку и стремглав прискакала к печке. Скоренько смазала сковородку салом и из поварёшки плеснула в неё тесто. Появился смачный, очаровывающий запахок, – мы с братом невольно потянулись носом к сковородке. Однако когда Лена переворачивала блин, он почему-то расползся на две половины, а верх непрожаренной стороны так и вовсе растёкся киселём. Часть блина вдобавок угодила прямо на печку – в нос ударило горелым.

– Фу-у-у! – зажимал ладошкой свой рот и нос Сашок.

– Первый блин комом, – с учёным разочарованием подытожил я.

Мы обнаружили в нём и муку, и недожаренное твёрдое тесто, и яичную скорлупу, к тому же он «уродился» ужасно толстым и настолько липким, что им можно было склеивать что угодно или замазывать дырки и щели. Но самое главное – он оказался не сладким и даже не солёным, а отвратительно, да что там! – омерзительно пресным, безвкусным.

Наш смекалистый братишка в момент нашёл применение блину: скатал из него увесистый шарик и угодил им Лене прямо в лоб.

Что ж, прекрасно! – опять вспыхнула возня, с догонялками, писком, смехом и немножечко со слезами. Мы «раздухарились» так, что перья клоками и порознь полетели из подушек.

Снова взмокли, раздумянились, взлохматились, но на этот раз ещё и уморились: игры – ведь это тоже труд! Передохнули, отдышались. Надо бы прибраться в комнате – жуткий беспорядок, сущий кавардак: всюду, и летают, и лежат, перья, стулья перевёрнуты, одежда и постельное бельё расшвыряны, скомканы. Скоро мама придёт, ух, и заругается же. Ай, успеем прибраться! – отважно решаем мы. Хочется блинов! И Лена, понукаемая мною и Сашком, принялась печь второй блин. Зачерпнула поварёшкой тесто, но – что такое?! – насторожилась, напряжилась вся. Я уловил запах горячей материи.

– Утюг! – душераздирающе вскрикнула Лена и проворно спрыгнула с пристульчика, на котором стояла возле печки. Однако нечаянно локтём столкнула таз с тестом, и он полетел на брата.

Я первым подбежал к утюгу – моя рубашка тлела, исходя весёленькими хвостиками дыма.

Вдруг – вошла – мама. Она замерла в дверях, будто окаменела, и неподвижными, широко открытыми глазами смотрела на нас и наши художества. Я обомлел с рубашкой в руках, на маму нахально взидало глазище гари. Лена, когда мчалась к утюгу, запуталась, бедняжка, в фартуке и растянулась на полу с повернутой к маме встрёпанной, усыпанной перьями головой и по-рыбьи разинутым в немых судорогах ртом. На маковке брата, точь-в-точь как мозги, торчал громоздкий серо-белый комок, а таз валялся возле его ног. Что могла подумать мама!

Брат отчаянно вскрикнул и заголосил, завыл, сердешный. Мы вздрогнули и ринулись к нему.

11. Мысли

Отец отдалялся от семьи; чаще и чаще заявлялся домой выпившим. Мама, оторвавшись от работы, смотрела в его сторону, а не на него самого (будто, где он стоял, было пусто, и она не видела там никого), строго и сердито. Она выхудала, подгорбилась вся, будто бы что-то тяжёлое взгромоздили на её плечи, под глазами пригрелась тень. Мама стала походить на старушку.

Она уже не ругала папку. Как-то безропотно-равнодушно предлагала ему поужинать. Но иногда, по преимуществу утром, когда он собирался на работу, тихо, чтобы мы не слышали, говорила ему:

– Ехал бы ты, Саша, куда-нибудь, что ли. Свет-то велик – местечко какое-никакое сыщется для тебя. Ведь тебе всё равно ничего не надо – ни семьи, ни хозяйства, ни детей. Да, да, уезжай. Мы как-нибудь проживём, продышим.

Мама подламливалась – всхлипывала, но сдавленно, глубинно. Горечь вздрагивала в моём сердце. Я осторожно выглядывал из-за шторы – папка гладил маму по голове:

– Аннушка, не плачь, прошу, не плачь. – Закрывал свои глаза ладонями: – Да, пропащий я человек. Вернее, пропащий дурак. Не могу, не умею жить, как все, и хоть ты что со мной делай. А почему так – не пойму. Хочу, понимаешь, чего-нибудь необычного. Сейчас в степь захотелось. Запрыгнул бы на черногривого, такого, знаешь, горячего коня и во весь дух пустился бы по степи. Ветер свистит в ушах, дух забирает, небо над тобой синее-синее, а на все четыре стороны – ширь и даль. Ты меня понимаешь, Аня?

Мама скорбно улыбалась бледными губами, поглаживала папку по руке:

– Чудак ты.

– Зна-а-а-ю, да невмочь уже себя перекроить. Эх! поймёшь ли ты меня когда-нибудь?

Ответа не следовало – мама принималась за всевозможную и нескончаемую свою домашность: нужно было многое сработать за утро, за день, за вечер, а то и от ночи прихватить; а ещё сбегать в конторы и полы помыть.

Тревожно и смутно становилось у меня в душе. Недетские мысли забредали в мою голову.

Я утвердился, и невозможно было что-либо иное выискать, что источник всех наших напастей – красавица и *вольная* женщина тётя Клава. Отец частенько завёртывал к ней, но всегда украдкой, через огороды; а ведь до переезда в Елань он пил мало, просто бродяжничал по Северу, или, как однажды выразилась маме, «упивался волей».

Я подоспевал к папке на работу после смены и, можно сказать, уводил его домой. Мне так хотелось, чтобы наша семья была счастливой, надёжной! Меня всё меньше интересовали и влекли детские забавы. Я, несомненно, вырос.

Когда папка был трезвым, нам всем было хорошо. Он допоздна читал. Вздыхал над книгой, тёр лоб, морщился, помногу курил, задумавшись. О чём он думал? Может, о том, о чём в один из вечеров говорил с мамой:

– Ничего, Аня, не пойму, хоть убей!

– Чего ты не понимаешь? – устало смотрела на него мама, починяя Настино платье.

– Что за штука жизнь? Скажи, зачем мы, люди, живём?

– Как зачем? – искренне удивилась мама, опуская руку с иголкой.

– Вот-вот – зачем? – хитровато поглядывал на неё папка, покручивая уже седеющий ус.

– Каждый для чего-то своего. Я – для детей, а ты для чего – не знаю.

Папка огорчился и стал живо ходить по комнате:

– Я, Аннушка, о другом толкую. Я – вообще. Понимаешь?

– Нет. Разве можно жить вообще?

– Ты меня не понимаешь. Я о Фоме, а ты про Ерёму. Ну, скажи, зачем всё появилось?

Интересно, ажно жуть!

Мама иронично, но улыбочиво нахмурилась, молчком принимаясь за шитьё.

– Смеёшься? – хмуро покачал головой папка. – А я впрямь не совсем ясно понимаю. Для чего я появился на свет?

Мама вздохнула:

– Беда с тобой, Саша, и только.

– Мне обидно, Анна, что ты меня не понимаешь. Смеёшься надо мной, а мне горько.

Понимаю, что путаник, да ничего не могу с собой поделать.

Ушёл на улицу и долго курил, разговаривая с собаками.

На следующий день я не застал папку на работе. И дома его не оказалось. Я понял, что снова могут вторгнуться в нашу семью боль и слёзы. Глаза мамы были печальны и жестки. Я прокрался огородом к дому тёти Клавды; за дверью услышал голос отца:

– Мне тяжело, Клавка, жить. Не могу-у!.. Не хочу-у!..

– Прекрати! – отозвалась она. – Будь что будет!..

Я вошёл в комнату. Папка задержал возле губ рюмку. Я взял его за руку и вывел на улицу. Он, как ребёнок, поплёлся за мной. Было уже темно. Шевелились в небе змейки молний. Резко пахло дождём. Мы посидели возле дома на скамейке.

– Ты нас бросишь? – спросил я.

Мне показалось, что папка вздрогнул. Закурил. Гладил меня по спине неверной, казавшейся слабой рукой.

– Ну, что ты, сын? Я всегда буду с вами. Смогу ли я без вас прожить на этом свете?

– Пойдём домой, – предложил я, беспокоясь о маме.

– Айда. – Он попридержал меня за плечо: – Ты вот что, сынок... матери ничего не рассказывай, ладно?

– Ага, – с радостью согласился я и потянул его к дверям.

Пустыми железными бочками прокатились по небу громы, зашуршал, как воришка, в ветвях созревшей черёмухи дождь. Славно запахло сырой свежестью и прибитой дорожной пылью. Ребята бегали по улице, радовались дождю. Олега Петровских зывал меня играть, но я не пошёл. Тайком ото всех пробрался в сарай. Опустился на колени и воздел руки:

– Иисус Христос, помоги нам, исправь папку. Наказывать его не надо бы, но сделай так, чтобы он одумался и стал жить, как мама. Помоги нам, Христос. Скажи, сможешь, а?

Я прислушался к этой мрачной, шуршащей, текущей тишине. Всмотривался в непроглядный угол сарая, из которого ожидал чудесного появления Бога.

– Если не сможешь – убегу из дома, отравлюсь, что угодно вытворю над собой! Слышишь? – Вслушался, даже подавшись всем телом, – безмолвие. – Что же Ты, Иисус? – И я заплакал, зарыдал.

Неожиданно почувствовал, что сзади, у двери, кто-то стоит. Я вздрогнул и резко повернулся – в дверях замерла мама. Её ладони сползли от висков к подбородку, глаза настолько расширились, что мне каким-то кусочком сознания вообразилось, что они отдалены от лица. Я медленно, со странной плавностью в движениях приподнялся. Перед глазами качнулось; почувствовал, что падаю, будто во что-то тёплое и вязкое.

– Мама, – слабо позвал я. Она крепко обняла меня, и мы долго простояли замерши.

12. Антошка

Мои такие срывы внезапными, пугавшими меня накатами повторялись. Я отдалялся от сверстников. Играть стал нередко один или с собаками, которых у нас жило две – Байкал и Антошка.

Байкал был важным и самолюбивым до чванливости, скорее всего от осознания, что он папкин любимчик. Его толстый, похожий на кусок пожарного шланга хвост всегда стоял торчком, рыже-грязно-коричневая шерсть была жёсткая и создавала впечатление, когда к ней прикасались, шероховатой, неоструганной доски. Он надменно пренебрегал Антошкой и становился ревнив и зол, если тот пытался завоевать любовь хозяина: оскаливался, рычал и хватал зубами безответного милого нашего Антошку за шею или бока. Искусанного и скулящего, я брал его на руки и ласкал. Он лизал шершавым, розоватым языком мои руки и лицо и благодарно, преданно смотрел в глаза. Я вместе с братом и сёстрами забинтовывал его. Освободившись из наших рук, бинты и тряпки он срывал и принимался зализывать раны.

Как-то я увидел по телевизору дрессированных собак. Они были забавно одеты, парами танцевали под балалайку и – пели. То есть тявкали. Было смешно и потешно. «А чем наши плохи для таких штукенций? – размышлял я ночью в кровати. – У мамы послезавтра день рождения, и если... – Но я не досказал мысли и обомлел. – Во будет здорово!»

Я уже не мог лежать спокойно: дети, известно, самый нетерпеливый на свете народ. В потёмках прополз к кровати Лены и Насти. Они ещё не спали и шептались.

– Слушайте внимательно, – стоял я перед их кроватью на коленях. – Завтра сшейте шаровары для Антошки, лучше – красные.

– Для кого?! – Сёстры аж подпрыгнули.

– Тише вы! Шаровары Антошке, – шептал я, опасаясь разбудить взрослых. – Сегодня видели по телеку?

– Ну?

– Гну! Антошка будет так же скакать и распевать на мамином дне рождения.

– Отлично! А получится у тебя?

– Получится. Главное, чтобы шаровары были. И ещё башмачки нужны, жёлтый пояс – как в телеке, помните? Так, что бы ещё? Ага! И кепку.

Первые солнечные отсветы не вздрогнули на моём настенном тряпичном коврикe, а я уже был на ногах. Все спали, кроме мамы и отца; мама уже накормила поросят и готовила завтрак, а отец ушёл на работу.

Я возжелал – сегодня же научу Антошку ходить на задних лапах, прыгать через обруч и палочку и петь под губную гармошку. «Мой Антошка будет петь!» – приподнято думал я, когда набирал в карман кусковой сахар. Чувствовал в теле набирающую силёнок бодрость, растекающуюся, наверное, от сердца, которое билось как-то чудно – рывками, будто выскочить хотело.

Я приотворил дверь – на крыльце, свернувшись калачиком, почивал Антошка; чуть ли не в обнимку рядом с ним развалился кот Наполеон. Они слыли закадычными друзьями. Розоватый, блестящий нос собаки пошевеливался: должно быть, Антошке снились вкусные кушанья. Наполеон дремал безмятежно, но иногда вздрагивал, и его седовато-серый облезлый хвост нервно шевелился. Я подкрался к ним. Не хотелось нарушать дружеский сон. Погладил обоих; они потянулись и, быть может, сказали бы, если умели бы говорить: «Эх, покомарить бы ещё!»

Антошку я увёл за сарай на лужок. Вспыхивала роса, чирикали воробьи, где-то у соседей горланил в стайке петух. Над ангарскими сопками колыхалась красновато-серебристая лужица света. Она ходко растекалась ввысь и вширь, превращалась в озеро, и вскоре из него вынырнуло солнце.

В столярке отца я взял обруч, палочку и с жаром принялся за дело. Отошёл от Антошки метров на десять:

– Ко мне!

Он весело подбежал.

– Так. Начало славненькое. На сахар.

Антошка проворно схрумкал кусочек и уставился, виляя хвостом, на меня: «Ещё хочу!» – говорили его загоревшиеся глаза.

– Смотри, Антошка: вот палочка. Через неё надо перепрыгивать. Понял? Ну, давай!

Антошка, склонив набок голову, смотрел на меня.

– Давай! Что же ты?

Я подставил палочку под самые его лапы. Он понюхал её, посмотрел на меня: «Я должен эту палочку схрумкать? Но она не съедобная!» – говорили его глаза.

– Какой же ты, Антошка, бестолковый. – Я подёргал его за ухо. Он счёл мой жест за ласку и лизнул мою руку. – Смотри, что надо делать. – Я, низко склонившись и держа палочку одной рукой, перепрыгнул через неё. – Ясно?

На куст сирени запорхнули воробьи. Антошка с лаем кинулся на них. Вспугнутые птицы улетели, а Антошка принялся, как умалишённый, ухлёстывать по лужайке и лаять. «Брось ты эту противную палочку: лучше давай поиграем!» – наверняка хотел он сказать мне. Я с трудом поймал его; он высунул язык, жарко дышал и вырывался из рук.

– Какой же ты противный пёс. – Я чувствовал не только раздражение – что-то похожее на ожесточение закипало в моей груди. Мне стало казаться, что Антошка нарочно, из зловредного умысла так ведёт себя.

Часа через два я скормил Антошке последний кусок сахара, но пёс совершенно не понимал, чего же я от него добиваюсь. Резвился или злился, когда я силой заставлял его что-нибудь выполнить. Я вспотел и до боли искусал палец. В конце концов, во мне хрустнуло то, что, быть может, называется силой воли – я схватил Антошку и, пытая, заглянул в его округлившиеся глаза.

– Убирайся! – в отчаянии крикнул я и отшвырнул бедную собаку.

Антошка, поджав хвост, отбежал к кусту сирени и, сжавшись, изумлённо смотрел на меня.

– Неужели из-за этой бестолочи я не порадую в день рождения маму?! – уткнул я голову в колени.

Весело подпрыгивая, подбежала Настя. Она была в коротком цветастом платье, её глаза излучали радость.

– Серёжа, Серёжа! Мы нашли в кладовке твои старые брюки! Обрежем гачи, и будет Антошке самое то.

Я с досадой взглянул на сестру.

– Не нужно мне никаких ваших брюк, – зачем-то ударил я на «ваших». – Оставьте меня в покое.

– Как?! Ты же сам просил!

«Ещё и Настю обидел!»

– Подождём с брюками, – произнёс я уже мягче. – Пока не до них. Вечером будет видно.

Она ушла раздосадованная и огорчённая. Антошка, вбок удерживая голову, подошёл-подкрался ко мне. Я сумрачно смотрел на него. Он завилял хвостом и лизнул меня в плечо.

– Уйди.

Но он ещё раз лизнул. «Скажи, скажи: в чём я виноват? Скажи, и я исправлюсь», – было в его глазах.

– Эх, ты, – потрепал я за мягкий загривок притихшего в моих ногах Антошку. Он лизнул тёплым языком мою руку, и я прижал его к своему боку.

День рождения, помнится, у мамы не получился: она к нему готовилась, тревожась, накрыла стол, испекла большой пирог, надела свежайше-синее (как море, подумал я, хотя никогда не видел моря), с белыми манжетами (как паруса на этом море) платье, но отец в тот вечер так и не появился дома. Я уже не верил, что в нашей семье когда-нибудь водворится покой и счастье.

13. В гостях

На осенних каникулах мы приехали в гости к дедушке с бабушкой в деревню Балабановку. Как я через много лет узнал, дедушка с бабушкой услышали, что в нашей семье неполадок, «безалаберщина», пригласили нас к себе и намеревались как-нибудь повоздействовать на папку.

На автобусной остановке нас встречал дедушка. Росточка он был низёхонького, к тому же сутулый, его махонькие глазки прятались под густыми серыми бровями, и смотрел он всегда с этаким умным, хитроватым прищурцем, словно всё на свете знал и понимал.

– Ну, разбойники, здрасьте-хвасьте! – не говорил, а как-то разгульно кричал, надрывался он, крепко обнимая и целуя нас.

Он напрыгом схватил меня за голову и впился своими мокрыми губами в мои – ударило в нос духом махорки и пота, даже потянуло чихнуть. Стало щекотно от его топорщившихся рыже-ржавых, как проволоки, усов и какой-то смешной, казалось, что выщипанной, бородёнки. Дедушка выпустил меня из своих рук – я очумело пошатнулся, чуть было не упал и – чихнул.

– Будь здоров, разбойник! – громко зыкнул дедушка, будто бы находился от меня метров этак за сто. – Расти большой и мамку с папкой слушайся. – Слова «разбойник» и «разбойница» у него были, к слову, почти что ласкательными.

– Здорво, батя, – протянул дедушке свою большую, широкую ладонь папка.

– Здорово, здорово, разбойник! – крикнул дедушка, напугав проходившую мимо женщину, и с размаху саданул своей маленькой, мозолистой, с покалеченными пальцами рукой о папкину. – А-га, разбойницы! – широко распахнул он старый, заношенный до блеска пиджак и накиннулся на девочек.

Они зазвонисто пищали. Он целовал их помногу раз каждую и приговаривал:

– Ах, вкусные!

Поцеловал нашу красавицу-дэвицу Любу – и нарочито громко сплюнул, укоризненно покачал головой: её губы были слегка крашены.

– Стареешь, дочь, что ли? – Дедушка приобнял маму. Она, отворачиваясь, вроде как вздрогнула. – Ну, чего-чего? – похлопал он её по плечу. – Эх, гонялись, помню, за ней парни! А вот свалился откулева-то этот разбойник, – махнул он головой на папку, и у того повело губы в самодовольно-виноватой усмешке, – и украл её... Ну, родова, трогаем, что ли?

Мы живёхонько уселись в телегу, в которую была впряжена бодрая, кряжистая – чем-то напомнила мне хозяина своего! – лошадка. Я и брат – дедушка милостиво позволил нам «чуток порулить» – стали бороться за обладание бичом и возжами, и я конечно же одолел Сашка.

Бабушка вместе с родственниками встречала нас у ворот дома – приземистого, маленького, с весёлыми петухастыми наличниками. Снова – лобзания, объятия. Бабушка нежно взяла меня за щёки своими мягкими душистыми пальцами и громко чмокнула в губы и в лоб. От неё веяло чем-то печёным, а также черёмуховым вареньем и дымком. Она, весьма полная, дородная, походила на матрёшку в своём цветастом размашистом платке.

В толпе встречавших я заметил хорошенькую девочку лет десяти. Меня поразили её крупные, чёрные и как будто до глубин напитанные влагой глаза; от таких глаз трудно отвести взгляд сразу, но в то же время неловко в них смотреть: создаётся ощущение, что она видит тебя

насквозь, что ей понятны твои сокровенные мысли. Она теребила костистыми длинными пальцами тонкую короткую косицу с вплетённой выцветшей атласной лентой, прятала бескровное личико за руку своей матери, очевидно стесняясь нас. Девочку звали Люсей. Мы окружили её, теребили, а она всё молчала, и по строгому, но испуганному выражению её лица можно было подумать, что если она заговорит, то непременно о чём-нибудь благоразумном, очень серьёзном.

– А ну-ка, разбойница, открывай ворота! – зыкнул дедушка бабушке, широко усмехаясь беззубым ртом. Он молодцевато стоял в телеге и размахивал бичом.

– Ишь раскомандовался, старый чёрт! – Бабушка нарочито грозно подбоченилась. – Енерал мне выискался!

Пошла было открывать, но её опередил Миха, мой двоюродный брат, двенадцатилетний мальчишка, крупный, сильный, но сонновато-вялый. Он всегда перебарывал меня, и я порой сердился на него, особенно когда он клал меня на лопатки на глазах у девочек.

Потом взрослые сидели за праздничным столом. Из всех мне как-то сразу не понравился дядя Коля, отчим Люси. Я робел под его твёрдым мрачноватым поглядом. Когда наши глаза встречались, я свои немедля отводил в сторону. Дядя Коля на всех смотрел так, словно был чем-то недоволен или раздражён. Миха мне рассказал, что у дяди Коли в подполье зарыто миллион рублей и пуд золота, что он страшно жаден, и нередко морит семью голодом, дрожит над деньгами; однако через час Миха заявил, что у дяди Коли аж три пуда золота. Ещё он сообщил, что в родне поговаривают, будто дедушка написал завещание и дяде Коле, которого недолюбливал, оставил всех меньше или даже, кажется, вообще ничего.

А вот в дядю Федю, отца Михи, я просто-таки влюбился. У него выделялись большие, как у коня, кривые зубы, и они меня очень смешили. Голова у него блестела замечательной розоватой плешью, как и у брата его, дяди Пети, и казалась политой маслом. Он любил говорить, точнее, как и дедушка, кричать:

– Порядок в танковых войсках!

Или подойдёт к кому-нибудь из детей и скажет:

– Три картошки, три ерша? – и ставил три лёгких щелчка и три раза тёр мозолистой ладонью по лбу. В особенности он любил вытворять такую штуку с девочками. Они пронзительно пищали и вопили, но оставались крайне довольны его вниманием. Потом кокетливо улыбались, прохаживаясь возле него и выпрашивая ещё разок три картошки да три ерша. Он неожиданно хватал их – они снова пищали, закрывая голову руками.

Дядя Федя закусывал, а я зачарованно посматривал на его большие зубы. Он подмигнул мне и поманил пальцем.

– Садись, племяш, покачаю. – Он по-щедрому далеко выставил ногу, обутую в кирзовые, съёженные старые, но отменно начищенные сапоги; к слову, сапоги он носил постоянно, в любое время года, а также и в праздники, и в будни. Он говорил, бывало: «Я – работяга, к чёрту мне туфёлы всякие ваши». Вот, такой он был человек!

«Нашёл маленького!» – заносчиво подумал я, посасывая сахарного петушка.

– Вы, дядя Федя, лучше Сашка покачайте.

– Ну, ну, – замысловато подморгнул мне дядя Федя.

Мама подошла к гитаре, висевшей на писаном масляными красками коврике с лебедями и русалками. Все затихли. Кто-то шикнул на Сашку – он начал было хныкать, жалуясь маме. Она притулилась на краешке кровати, неторопливым, ласкательным движением загорелых, с синеватыми жилками рук стёрла с инструмента пыль. Взяла гитару поудобнее, настроила. Все внимательно следили за движениями мамы – казалось, ожидали чего-то необычного, особенного. Тощеватый, без одного глаза кот Тимофей тоже заинтересованно смотрел на маму и даже перестал стрелять глазом на колбасу. Мама посидела несколько секунд не шевелясь, с груст-

ной улыбкой всматриваясь в тёмное окно, за которым виднелись вдали огни деревеньки на той стороне Ангары. Двумя пальцами коснулась струн и тихо запела:

Сердце будто забилося пугливо,
Пережитое стало мне жаль.
Пусть же кони с распушенной гривой
С бубенцами умчат меня вдаль...

Бабушка печально и улыбчиво хмурилась, всплакнула в платочек, тихонько высморкалась. Дедушка сидел сторбленно, вонзив свои худые пятерни в взлохмаченные заржавелые волосы и шевеля красными ноздрями. Опалённые, клочковатые брови дяди Феди важно подёргивались под музыку. Папка тяжело покачивал головой, вперившись в пол. Мне стало невыносимо грустно; я, не дослушав, прокрался в сени и посидел на холодке и в темноте один.

Потом взрослые отплясывали; дядя Федя залихватски распяливал меха замызганного баяна. Бабушка величаво вышла на середину комнаты, взмахнула цветастым платком и, видимо, воображая себя молодой да стройной, «поплыла лебедушкой» к дедушке. Подступивши к нему, резко и с полуприсядом увернулась и задиристо, но и улыбчиво глянула на дедушку – закричала его. Он неспешно, как-то этак деловито двумя пальцами пригладил топорщившиеся реденькие усы, расправил по ремешку застиранную, в заплатках гимнастёрку, топнул раз-другой, как бы проверяя крепость пола, и, с вывертами, с коленцами выбрасывая ноги вперёд, вошёл в круг.

– И-их! – тоже притопнула раздумяившаяся бабушка и надвинулась всем своим необхватным остовом на маленького дедушку.

– Поддай, Федька! – рявкнул уже багровый дедушка, лихо крутнувшись вокруг бабушки, словно убежал от неё. Ещё раз с важностью разгладил потом заблестевшие усы. – Жарь! Э-эх! А ну, старая, шевелись! Сбрось жирку маленько, э-э-эх!..

Натанцевавшись, взмокший и пунцовый, дедушка присел на лавку рядом с дядей Колей, который почему-то не веселился. Они стали о чём-то спорить, сначала мирно и тихо, а дальше громко и раздражённо. Дедушка низко наклонял голову и весь натуживался, будто бы хотел рывком перепрыгнуть через стол.

– ...Обидел ты меня шибко, отец, – донеслось до меня произнесенное дядей Колей. – А-а-а, чего уж! Будя теперь! Давай-ка лучше выпьем...

– Колька! Змей! – вдруг вскрикнул дедушка. Пляска смешалась, баян оборванно замолк. – Никаких, слышишь, духовных я не писал. Понял?! Да и завещать мне нечего. Домок да старуху? Помрём – заberi его. Одно, Николай, у меня богатство – старуха.

– А-а! старуха. Я, батяня, так сразу и подумал, – покривился сын. И, притворяясь равнодушным и зачем-то разглядывая свои ладони, в самое лицо отцадохнул: – А в этом месяце Анне кто отправил три сотенки целковых?

– У-у-у, молчи, гад! – Дедушка страшно – безобразными кляксами – побледнел. Сгорбленный, натуженный и трясущийся, еле-еле привстал: – У Аннушки – пять ртов, а у тебя – одна девчонка!.. У-у-уйди, злыдень! Сгинь!..

Дедушка стал хватать омертвело почерневшим ртом воздух, нороя что-то ещё сказать. Его глаза помутнели и выкатились, словно бы его душат, а он изловчается высвободиться, прилагая невероятные усилия. Мы, дети, забились за комод и со страхом наблюдали за происходящим; однако смельчак Миха под общий шум опрокинул в рот рюмку вина, щеголяя перед нами.

– Колька, довёл! – голосила бабушка. – Ты же знаешь, отец перенёс контузию на войне, ему нельзя взбудораживаться! Уйди, уйди!..

Дедушка повалился на пол и хаотично размахивал костлявыми руками.

– Вон из моего дома! – Бабушка с грохотом раскрыла дверь и указала сыну на выход. Мама пыталась её успокоить; папка пригласил дядю Колю на воздух покурить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.